

Т.А. Сотникова

Антон Павлович Чехов (1860-1904)

Детство. Семья. Таганрог	1
«Чувство личной свободы». «Я навсегда москвич»	4
«Занятие медицинскими науками». «Малая пресса».....	7
Переломный год	12
«Желание служить общему благу».....	16
«Течение мелиховской жизни»	20
«Последняя страница моей жизни».....	27

Детство. Семья. Таганрог

Антон Павлович Чехов родился 17 (29) января 1860 в городе Таганроге. Он был третьим сыном в семье купца третьей гильдии Павла Егоровича Чехова и Евгении Яковлевны Чеховой (урожденной купеческой дочери Морозовой). Сам Антон Павлович считал днем своего рождения 16 января: возможно, в метрической книге была сделана неверная запись и день рождения записали по дню святого Антония, именем которого ребенок был крещен.

Уже будучи взрослым, Чехов написал о доме на Полицейской улице, в котором родился: «Дивлюсь, как это мы могли жить в нем?» Действительно, в трех крошечных комнатках общей площадью 23 метра к моменту рождения Антона жили, кроме родителей, два его старших брата — Александр (1855) и Николай (1858). Младшие — Иван (1861), Мария (1863) и Михаил (1865) — родились уже на других квартирах.

Таганрог был в те годы портовым городом с хорошими театрами и обширной морской торговлей, и это давало возможность почувствовать, что «кроме этого мирка, есть ведь еще и другой мир».

Но посетив город своего детства в 1887, Чехов по-другому отозвался о нем:

«Как грязен, пуст, ленив, безграмотен и скучен Таганрог. ...Такая кругом Азия, что я просто глазам не верю. 60 000 жителей занимаются только тем, что едят, пьют, плодятся, а других интересов — никаких... Нет ни патриотов, ни дельцов, ни поэтов, ни даже приличных булочников».

Сделав это наблюдение, Чехов подарил Таганрогу свою личную библиотеку и до конца жизни присылал в нее новые книги. Едва ли он ожидал, что вследствие этого жизнь таганрогских обывателей станет высокодуховной. Но Чехов не был бы Чеховым, если бы ограничился ролью стороннего наблюдателя.

Детство его прошло в доме на углу Монастырской улицы и Ярмарочного переулка. На первом этаже помещалась лавка отца, на втором — квартира.

Лавка Павла Егоровича Чехова (в ней продавалось буквально все: масло, рыба, орехи, оливки, крупы, чай, кофе, табак, вакса, сургуч, пуговицы и всякая всячина; здесь же можно было выпить рюмку водки и почитать газету) стала теперь одним из чеховских музеев Таганрога.

Собственная лавка — то есть возможность завести свое дело и таким образом «выбиться в люди» — была для Павла Егоровича целью жизни. Его отец Егор Михайлович был крепостным, который, по его собственным словам, «глубоко завидовал барам — не только их свободе, но и тому, что они умеют читать». Еще до отмены крепостного права

Егор Михайлович выкупил на волю свою семью. (Дочь, на которую не хватило денег, он получил в придачу.) Выходя из крепостных, он забрал с собой два сундука с книгами.

В то время Павлу Егоровичу было шестнадцать лет, он стремился (и вскоре сумел) приобрести капитал — небольшой, но достаточный для того, чтобы чувствовать себя независимым и в будущем видеть независимыми своих детей. Это была одна из иллюзий Павла Егоровича, цену которой хорошо узнал впоследствии его великий сын.

«Я страшно испорчен тем, что родился, вырос, учился и начал писать в среде, в которой деньги играют безобразно большую роль», — признавался писатель много лет спустя, вспоминая свое детство и раннюю юность.

Чехов никогда не забывал о крепостном происхождении своего деда и купеческих стремлениях отца. Он помнил об этом не просто как о факте семейной истории, но как о явлении. Он был интеллигентом в первом поколении, заплатившим за свою интеллигентность высокую цену строжайшего самовоспитания. Об этом он писал А. Суворину:

«Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и Богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, — напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая...»

Неудивительно, что Чехов с детства приобрел стойкий иммунитет к покаянному народолюбию, которое стало камнем преткновения для многих русских художников, в том числе и для Льва Толстого.

«Во мне течет мужицкая кровь, и меня не удивишь мужицкими добродетелями, — писал Чехов. — Я с детства уверовал в прогресс и не мог не уверовать, так как разница между временем, когда меня драли, и временем, когда перестали драть, была страшная. Я любил умных людей, нервность, вежливость, остроумие...»

Павел Егорович был человеком настолько своеобразным, что нельзя нарисовать его образ только белой или только черной краской. С одной стороны, невозможно было не видеть того, о чем писал Антон Чехов брату Александру:

«Я прошу тебя вспомнить, что деспотизм и ложь стубили молодость твоей матери. Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспоминать. Вспомни те ужас и отвращение, какие мы чувствовали во время оно, когда отец за обедом поднимал бунт из-за пересоленного супа или ругал мать дурой».

К старости характер Павла Егоровича сильно изменился, и он жалел о своем тогдашнем деспотизме.

С другой стороны, Антону Павловичу, принадлежат слова о том, что талант у него — со стороны отца. И им же написано:

«Отец и мать единственные для меня люди на всем земном шаре, для которых я ничего никогда не пожалею. Если я буду высоко стоять, то это дело их рук, славные они люди, и одно безграничное их детолюбие ставит их выше всяких похвал, закрывает собой все их недостатки, которые могут появиться от плохой жизни, готовит им мягкий и короткий путь, в который они веруют и надеются так, как немногие».

Сохранилось немало свидетельств отцовского деспотизма Павла Егоровича. Главное из них — постоянные физические наказания, которым подвергались дети: за шалость, за плохие отметки, одним словом, за каждую мелочь. Будучи глубоко религиозным человеком, Павел Егорович был уверен в том, что, наказывая сыновей, свято исполняет свой родительский долг. Для детей же, особенно для Антона, с детства обладавшего

обостренным чувством собственного достоинства, воспоминания о наказаниях остались самыми унижительными и ужасными воспоминаниями жизни.

Религиозность Павла Егоровича проявлялась и в тщательном соблюдении церковных обрядов. В этом он, по воспоминаниям Александра Чехова, был «аккуратен, строг и требователен»:

«Если приходилось в большой праздник петь утрению, он будил детей в два и в три часа ночи и, невзирая ни на какую погоду, вел их в церковь. Ранние обедни пелись аккуратно и без пропусков, невзирая ни на мороз, ни на дождь, ни на слякоть и глубокую, вязкую грязь немощных таганрогских улиц. По возвращении от обедни домой пили чай. Затем Павел Егорович собирал всю семью перед киотом с иконами и начинал читать акафист».

Затем один из сыновей шел в лавку, чтобы приглядывать за работниками, а остальные — к поздней обедне. После всенощной дома читались на сон грядущий «правила». Кроме того, Павел Егорович организовал церковный хор, в котором его старшие сыновья пели партии дискантов, а Антон — альты. Спевки происходили два–три раза в неделю — опять-таки невзирая на плохую погоду или усталость детей после учебы в гимназии и работы в лавке.

Нетрудно догадаться, что все это было нелегко для детей.

«Когда, бывало, я и два мои брата среди церкви пели трио “Да исправится” или же “Архангельский глас”, на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям, мы же в это время чувствовали себя маленькими каторжниками», —

признавался Чехов в 1893.

Эти слова можно было бы считать подтверждением того, что детство его было несчастливим. Но не стоит забывать, что Чехов был человеком с глубоким и неодно-сторонним восприятием любых жизненных явлений.

«А что такое счастье? Кто это знает? — спрашивал он Л. Авилову летом 1901. — По крайней мере, я лично, вспоминая свою жизнь, ярко сознаю свое счастье именно в те минуты, когда, казалось тогда, я был наиболее несчастлив».

Никто не знает, к какому периоду своей жизни относил Антон Павлович эти слова...

Во всяком случае, во всех своих рассказах, связанных с церковью, — «Святой ночью», «Кошмар», «Панихида» (1886), «На страстной неделе», «Перекасти-поле» (1887), «Студент» (1894), «Убийство» (1895) и других он показывает себя знатоком церковной службы. И не просто знатоком церковного чина, а человеком, который, при глубоком отвращении к показной религиозности, чувствует мощь и красоту службы, содержащей в себе нечто большее, чем гармоничные звуки песнопений и богатство церковного убранства. Не потому ли заглавный герой его рассказа «Архиерей» (1902), «слушая про жениха, грядущего в полунощи, и про чертог украшенный, чувствовал не раскаяние в грехах, не скорбь, а душевный покой, тишину и уносился мыслями в далекое прошлое, в детство и юность, когда так же пели про жениха и про чертог, и теперь это прошлое представлялось живым, прекрасным, радостным, каким, вероятно, никогда и не было».

В детстве Чехов знал не только изнурительные обязанности в лавке и в церкви. Братья Чеховы занимались тем же, чем занимались их таганрогские сверстники: купались и ловили рыбу (Антон делал для этого поплавки в виде человечков); ловили птиц для продажи и степных тарантулов для развлечения; пускали самодельные воздушные шары, наполняя их светильным газом из уличных фонарей. (Правда, баловство с уличными фонарями было сурово пресечено отцом.)

Едва ли деспотизм Павла Егоровича основывался на вздорности его характера. Таких людей, как он, называют людьми твердых правил. Став взрослыми, сыновья не разделяли отцовских убеждений. Но было в его повседневном поведении, в его требованиях к детям нечто, вызывавшее впоследствии понимание и уважение у самого пронизательного из них, Антона Павловича. Возможно, Павел Егорович понимал опасность для

человека *неукоренности*, разрыва с традициями. Он воспитывал своих детей так, как воспитывали его. Он считал, что подобное воспитание ему не повредило, — а значит, не повредит оно и сыновьям. Он считал, что сумел выбиться в люди, начав с сиденья в лавке, значит — и его сыновья должны были начинать свой жизненный путь с того же. (Кстати, в 1877 Антон и сам мечтал стать богатым купцом. Он писал дяде: «Дай Бог России победить турку с трубкой, да пошли урожай вместе с огромнейшей торговлей, тогда я с папашей заживу купцом».)

Многие житейские убеждения Павла Егоровича можно считать сомнительными. Но не вдвойне ли сомнительна (и возможна ли вообще?) человеческая жизнь без повседневных правил?

Один из персонажей пьесы Чехова «Три сестры», муж Маши, гимназический учитель Кулыгин поучает: «Наш директор говорит: главное во всякой жизни — это ее форма... что теряет свою форму, то кончается — и в нашей обыденной жизни то же самое». Эти слова о форме, без которой жизнь кончается, много дают для понимания того, чем руководствовался в своей жизни Павел Егорович Чехов. Он, кстати, придавал огромное значение именно внешней форме — тому, как выглядит человек. Павел Егорович был мелким купцом, но никогда не одевался так, как это было принято в соответствующем сословии. Он носил не поддевку и сапоги «бутылками», а цилиндр или мягкую шляпу, белоснежные манжеты, высокие воротнички и крахмальную сорочку. Вероятно, потребность одеваться аккуратно и со вкусом передалась Антону Павловичу от отца.

Едва ли родители Чеховы готовили купеческую стезю для всех своих детей. Об этом свидетельствует уже то, что они по мере своих скромных материальных возможностей старались дать сыновьям такое образование, при котором не было особенной нужды в торговой деятельности. Правда, в основном это родительское стремление коснулось двух старших сыновей, так как ко времени, когда подрос Антон, семья сильно обеднела.

Для старших братьев, Александра и Николая, приглашали на дом учителя-француза, с помощью которого мальчики свободно овладели языком. Капельмейстер городского сада учил Николая играть на скрипке. Греки были наиболее состоятельными и образованными людьми в Таганроге — и Павел Егорович отдал было Антона в греческую гимназию, предполагая впоследствии послать его учиться в Афинский университет. Правда, потом по настоянию матери Антон пошел учиться в обычную гимназию. Однако стремлениям родителей дать детям хорошее образование не суждено было осуществиться. Жизнь очень скоро заставила их позабыть об «излишнем», каковым можно было считать классическое образование, и обратить все свои силы на «насушное»: материальное выживание.

«Чувство личной свободы». «Я навсегда москвич»

В 1876 иллюзии Павла Егоровича о возможности разбогатеть потерпели полный крах. Он не смог вовремя выплатить деньги, взятые в кредит для строительства нового дома, был признан банкротом и обращен из купеческого в мещанское сословие. (Евгения Яковлевна как дочь купца была так этим оскорблена, что впредь не подавала казенных прошений, чтобы не подписывать их «мещанка Чехова».) Павлу Егоровичу угрожала долговая яма, то есть тюрьма, и он вынужден был уехать — фактически, бежать — в Москву вместе с женой и младшими детьми, Марией и Михаилом. К тому времени двое старших сыновей уже учились в Москве: Александр — на физико-математическом факультете Московского университета, Николай — в Школе живописи, ваяния и зодчества. Иван и Антон остались в Таганроге, чтобы закончить гимназию. Но уже через год Иван бросил учебу и перебрался к родителям в Москву, так как не находил возможности заработать на жизнь в Таганроге. Вскоре он сдал экзамен на звание приходского учителя и получил место в подмосковном городе Воскресенске.

Антон остался в Таганроге — без денег, без поддержки, одинокий и свободный. На жизнь он зарабатывал репетиторством. Репетиторство как хорошую статью дохода

Павел Егорович одобрял, но за остальные занятия сына тревожился, понимая, чем может обернуться свобода для полного неясных стремлений, неопытного молодого человека. О своих опасениях он писал сыну из Москвы: «Мы боимся за тебя, как бы ты в отсутствии нашем не испортил своей нравственности, за тобою некому следить, как ты живешь, и своя воля может молодого человека спортить».

Будь на месте Антона кто-нибудь из старших сыновей — возможно, отцовские тревоги оказались бы не напрасны. Как показало будущее, Александр и Николай не обладали «своей волей», необходимой для того, чтобы выдержать разрушительный напор повседневности. Антон же, будучи предоставлен сам себе, обнаружил внутреннюю силу, необычную для шестнадцатилетнего юноши.

Сначала родители предполагали, что со временем смогут вернуться в родной город, и поэтому ставили перед Антоном трудновыполнимую задачу: с одной стороны, он должен был продавать домашние вещи и высылать вырученные за них деньги в Москву, чтобы на них жила вся семья («Кровать продай Машенькину, а что за нее просить, мы и сами не знаем, как тебе Бог поможет, так и продай»); с другой — сохранить до лучших времен семейное добро («Вещи продавай только ненужные и лишние, потому что опустошим дом, а потом трудно будет наживать, что было»).

В Москве Павел Егорович не сразу нашел работу (впоследствии он получил место приказчика в лабазе), и семья бедствовала. Жили вшестером в маленькой комнате под лестницей, мать и сестра не имели возможности выходить на улицу из-за отсутствия шубы и теплых башмаков. Есть приходилось в основном грибной суп: мясо и рыба были не по карману. Топить порою приходилось теми дровами, которые Николай таскал с проходящих по улице подвод.

Вскоре старшие братья стали жить отдельно, устранившись от семейных тягот. На шестнадцатилетнего Антона легли материальные заботы о семье, которые показались бы тяжелыми и человеку более взрослому и опытному. Письма к нему родных полны просьб о деньгах.

Впрочем, к сознанию своей ответственности за повседневные, бытовые дела семейства Антону было не привыкать. По воспоминаниям его тетки, сестры Евгении Яковлевны, он с отроческих лет выполнял по дому обязанности, которые даже в мещанских семьях (не говоря уже о дворянских, хотя бы и самых бедных) были делом прислуги: покупал на базаре провизию, убирал квартиру, делал ремонт в жилых комнатах. Он хорошо представлял себе, что такое убогий быт, «отсасывающий», по его выражению, у человека крылья. И, как это было свойственно ему во всем, не высказывал однозначного отношения к этому. По воспоминаниям И. Бунина, Чехов иногда говорил:

«Писатель должен быть нищим, должен быть в таком положении, чтобы он знал, что помрет с голоду, если не будет писать, будет потакать своей лени. Писателей надо отдавать в арестантские роты и там принуждать их писать карцерами, поркой, побоями... Ах, как я благодарен судьбе, что был в молодости так беден!»

...А иногда говорил совсем другое:

«Писатель должен быть баснословно богат, так богат, чтобы он мог в любую минуту отправиться в путешествие вокруг света на собственной яхте, снарядить экспедицию к истокам Нила, Южному полюсу, в Тибет и Аравию, купить себе весь Кавказ или Гималаи... Толстой говорит, что человеку нужно всего три аршина земли. Вздор — три аршина земли нужно мертвому, а живому нужен весь земной шар. И особенно — писателю...».

Сохранилось мало свидетельств о самостоятельной жизни юноши Чехова в Таганроге. Между тем эти три года были очень важны для формирования его личности. «Необходимо *чувство личной свободы*, а это чувство стало разгораться во мне только недавно. Раньше его у меня не было», — считал Чехов. Эти слова почти дословно повторяет его герой, старый профессор в «Скучной истории»: «Я не скажу, чтобы французские книжки были и умны, и талантливы, и благородны, но они не так скучны,

как русские, и в них не редкость найти главный элемент творчества — *чувство личной свободы...*»

Невозможно назвать то, «прекрасное утро», которое упоминает Чехов, говоря о «выдавливании из себя раба». Но то, что сознание собственного достоинства начало просыпаться в нем в годы таганрогской одинокой жизни, — едва ли подлежит сомнению. «Среди людей нужно сознавать свое достоинство», — наставляет он брата Михаила в письме.

Это же письмо к брату дает представление и о его тогдашних литературных вкусах. Чехов читал в то время Сервантеса, а также, в связи с Сервантесом, статью Тургенева «Дон-Кихот и Гамлет», читал «Фрегат «Паллада» Гончарова и «Хижину дяди Тома» Бичер-Стоу (от последней осталось «неприятное ощущение, которое чувствуют смертные, наевшись не в меру изюму или коринки»). Разумеется, изучал он в это время и все то, что положено было изучать ученику классической гимназии: всеобщую и русскую историю, историю Древней Греции и Рима, географию России, теорию словесности, историю русской словесности. Кстати, его гимназические успехи, в том числе по нелюбимому древнегреческому языку, стали после отъезда семьи не в пример лучше: неудивительно, ведь он избавился от многих отвлекавших его от учебы обязанностей — в лавке, в церкви.

Кроме того, Антон Чехов большую часть свободного времени отдавал сильнейшему увлечению своей юности — театру. Многие его соученики по гимназии вспоминают, что он был заядлым театралом — несмотря на то что посещение театра было для гимназистов нелегким делом: каждый раз следовало получать разрешение у начальства. Впрочем, гимназисты умели обходиться и без разрешений, используя знакомства в театральной среде.

Таганрог был в то время театральным городом. Сюда приезжали на гастроли разнообразные труппы, в том числе итальянские. На сцене городского театра шли оперетты и водевили, многие из которых можно было отнести к образцам жанра: «Парижскую жизнь» и «Перикола» Ж. Оффенбаха, водевили Ф. Кони, П. Каратыгина, Д. Ленского, а также произведения русской и мировой классики — Шиллера, Шекспира, Грибоедова, Лермонтова, Сухово-Кобылина, Гоголя, Островского. Гимназист Чехов не пропускал ни одного спектакля, но кроме того — был знаком со многими местными артистами. Вероятно, уже тогда сложился в его сознании тип русского провинциального актера — «человека легкомысленного до могилы, взбалмошного, часто порочного, но неутомимого в своих скитаниях, выносливого как камень, бурного, беспокойного, верующего и всегда несчастного, своею широкою натурой, беззаботностью и небудничным образом жизни напоминающего былых богатырей».

Одинокая жизнь в Таганроге ознаменовалась написанием пьес «Безотцовщина» и «Нашла коса на камень» и водевиля «Недаром курица пела».

Драма «Безотцовщина» получила известность в наше время благодаря фильму Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино». Действие драмы происходит в южной российской губернии — в годы, когда после отмены крепостного права, по словам одного из персонажей, «все смешалось до крайности, перепуталось», отношения между поколениями «отцов и детей» пришли к глубокому конфликту.

Сохранились свидетельства того, что, приехав в Москву на каникулы, Чехов предлагал свою пьесу великой актрисе Малого театра Марии Ермоловой — ни более ни менее как для бенефиса! Разумеется, в постановке было отказано. Едва ли Ермолова даже прочитала произведение начинающего драматурга: этим занимались специально состоявшие при ней люди.

В обращении молодого провинциального автора к знаменитой актрисе чувствуется одновременно и наивность, и ощущение собственных сил — еще не нашедших выхода, но уже властно определяющих будущий путь художника. Это ощущение составляет и самую суть пьесы. Исследователь творчества Чехова М. Громов писал о «Безотцовщине», многие мотивы которой воплотились в будущих произведениях Чехова:

«Пьеса создавалась с непростительной, возможной лишь в ранние годы расточительностью. Это одновременно и драма, и комедия, и водевиль — или, вернее сказать, ни то, ни другое, ни третье, — но, кроме того, это еще и хаос, весьма похожий на реальную русскую жизнь. ...Но десять с лишним печатных листов — это прежде всего труд, невыполнимый без настойчивости и воли. У Чехова — и это главное — хватило воли, чтобы довести труд до конца; он сделал это в возрасте, когда человек менее всего склонен к усидчивости и терпению, когда он живет увлечениями и мечтами, чаще всего несбыточными».

По окончании гимназии Чехов решил поступать на медицинский факультет Московского университета. Трудно сказать, что повлияло на его выбор: он не оставил никаких свидетельств об этом. Учеба не обещала быть легкой — и потому, что медицинский факультет был одним из самых трудных, и потому, что в Таганрогской гимназии не преподавались химия и биология. Эти предметы Чехов изучал самостоятельно, уже будучи студентом. После первого курса он сдал их на «отлично».

В 1879 Чехов навсегда покинул Таганрог и приехал в Москву: без нее он не мыслил своей жизни. Чехову принадлежат слова, под которыми и сегодня могли бы подписаться многие провинциалы, чувствующие в себе силы, воплощение которых возможно только в Москве:

«Кто привыкнет к ней, тот не уедет из нее. Я навсегда москвич».

«Занятие медицинскими науками». «Малая пресса»

Став студентом медицинского факультета Московского университета и обосновавшись в столице, Чехов сразу понял то, что оставалось — и в наши дни остается — непонятным для многих молодых людей, приезжающих в Москву с наполеоновскими планами. Он понял, сколько всего должен изменить в себе, чтобы «не стоять ниже уровня среды, в которую попал». Имелось в виду многое: от таганрогского выговора («Безотцовщина» — как, видимо, и тогдашняя речь Чехова — пестрела диалектизмами вроде «рипеть», «пихать» и т. п.) и орфографических ошибок (поступая в университет, Чехов написал в прошении на имя ректора, что просит зачислить его «по медицинскому факультету») — до привычек и черт характера.

Слова Чехова: «Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости», — кажутся неактуальными многим современным молодым людям. Канули в прошлое упоминаемые Чеховым сословия. Юноши с амбициями хотели бы «покупать» для себя нечто иное, чем их сверстники сто лет назад.

Но Чехов не был бы Чеховым, если бы в своих размышлениях о жизни ограничивался преходящими явлениями.

Житейские ценности с течением времени меняются (впрочем, едва ли радикально), но способ их достижения остается для талантливого человека прежним. И жизненные пропасти будущего, о которых не имеет понятия молодость, не исчезают с развитием науки и техники.

Перед глазами девятнадцатилетнего Антона Павловича был пример его братьев Александра и Николая — талантливых людей, которые были ему неизмеримо дороги на протяжении всей его жизни.

Природа щедро одарила старших братьев Чеховых: Александра — беллетристическим талантом, Николая — талантом живописца. Имея живой, острый ум, Александр Чехов восхищал брата Антона своими письмами, в которых как никто умел передать настроение или дать объемное, яркое описание. «Если бы писал так рассказы, как пишешь письма, то давно бы уже был великим, большим человеком», — писал ему Антон.

Вообще, письма Чехова к братьям полны страстных внушений о том, как важно самовоспитание для талантливого человека их круга. Антон Павлович писал в 1886 брату Николаю:

«Воспитанные люди, по моему мнению, должны удовлетворять следующим условиям:

Они уважают человеческую личность, а потому весьма снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы. ...Они прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо, и остроты. ...Они не унижают себя с той целью, чтобы вызвать в другом сочувствие. Они не играют на струнах чужих душ, чтобы в ответ им вздыхали и нянчились с ними. Они не говорят: “Меня не понимают!” или: “Я разменялся на мелкую монету!” ...Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомства с знаменитостями, рукопожатие пьяного Плевако. ...Они воспитывают в себе эстетику».

Для Антона Павловича мучительно было видеть, как одаренные и любимые им братья растрачивают себя на пьянки и безалаберную, не требующую усилий жизнь.

«Николка шалаберничает; гибнет хороший, сильный русский талант, гибнет ни за грош... Еще год-два — и песня нашего художника спета. Он сотрется в толпе портерных людей. ...Что он теперь делает? Делает все то, что пошло, копеечно, а между тем в зале стоит его начатая замечательная картина», —

сокрушался Чехов в 1883. Он пытался помочь брату, объяснить ему то, что понял сам: талантливому человеку гораздо более, чем бездарному, необходимо держать себя в узде жесткого самоограничения, не потакать низменным инстинктам.

«Тут нужны непрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля...»

Старшие братья Чеховы менее всего были к этому склонны.

«Сказывается плоть мещанская, выросшая на розгах, у рейнского погребца, на подачках. Победить ее трудно, очень трудно!» —

писал Чехов Николаю. Он начисто отметал утверждения о непонятости их окружающими:

«Для меня лично ты не составляешь загадки. ...И к тому же твоя жизнь есть нечто такое психологически несложное, что понятно даже не бывшим в семинарии. ...Ты часто жаловался мне, что тебя “не понимают!!” на это даже Гете и Ньютон не жаловались... Жаловался только Христос, но тот говорил не о своем “я”, а о своем учении... тебя отлично понимают...»

В ежедневном самовоспитании Чехов не признавал мелочей, не преуменьшал значения внешней опрятности, без которой невозможна опрятность душевная:

«Воспитанные люди... не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплеванному полу, питаться из керосинки. ...Они не трескают походя водку, не нюхают шкафов, ибо знают, что они не свиньи. Х... самолюбие надо бросить... 30 лет скоро! Пора!»

В этих строках за горячими — и не всегда цензурно выраженными — увещаниями виден и образ жизни брата Николая, и отчаяние, которое его жизнь вызывала у брата Антона. Схожую с Николаем жизнь вел и Александр, который позволял себе делать долги в расчете на выигрыш в лотерею или впадать в запой, ссылаясь на обремененность семейными заботами.

Антону Чехову казалось, что братья своими руками погубили то, что было дано им от Бога, и сделали жертвами «того неумолимого закона, по которому из сотни начинающих и подающих надежды только двое, трое выскакивают в люди, все же остальные попадают в тираж, погибают, сыграв роль мяса для пушек...» Но, возможно, любовь к родным людям не позволяла Чехову сказать и о другом: масштаб дарования Александра и Николая был не так велик, чтобы заставить их следовать по пути искусства, не отклоняясь от него по малодушию и лени.

Александр Чехов до конца жизни оставался литератором средней руки, автором газетной беллетристики со стойким комплексом неполноценности, который он выплескивал в письмах к Антону: «Я — брат того Чехова, который... Менелай — муж царицы, а я — твой брат...»

Судьба Николая сложилась еще более трагично.

«Художественное поражение было главным, – считает чеховед А. Чудаков. – Богемный быт, беспорядочная жизнь — все это было уже производным. Рисунок, иллюстрирующий две-три юмористические реплики, можно было сделать за один вечер в номерах Бултыгина или в трущобах Каланчевки».

Только Антону Чехову дано было преодолеть соблазн легкой (а в художественном отношении тупиковой) жизни литератора «малой прессы». Он единственный из братьев смог освободиться от оков поденщины, усвоив все лучшее, что давала литератору ежедневная заказная работа для юмористических журналов: свободу от канонов и сложившихся литературных школ, виртуозное владение композицией, возможность пробовать самые разные повествовательные манеры.

В круг пишущих для так называемой «малой прессы» — то есть для коммерческих изданий, в основном юмористических, а также для легкого семейного чтения — ввел Чехова брат Александр. С этими же изданиями сотрудничал как художник и Николай Чехов. К «малой прессе» относились журналы «Стрекоза», «Зритель», «Будильник», «Сверчок», «Осколки», «Свет и тени» и многие другие. Издавали их зачастую люди, далекие от литературы, — купцы, промышленники. Между журналами шла жесткая конкуренция, заставлявшая бороться за каждого, в том числе весьма невзыскательного читателя. Постоянными журнальными жанрами были фельетоны — еженедельные, театральные, дачные, рождественские; пародии, причем не столько литературные, сколько на судебные речи, поваренные книги, театральные афиши и объявления; небольшие водевили; юмористические «мелочи» — сценки, рассказы объемом до 200 строк (в том числе святочные), остроты, анекдоты, подписи к рисункам.

Писатели с именем считали для себя позорным печататься в подобных изданиях. Исключение составлял разве что Н. Лесков, печатавший в «Осколках» небольшие рассказы. У студента-медика Антона Чехова не было ни литературного имени, ни денег, зато была зависящая от его доходов большая семья и — колоссальная творческая энергия. Он стал сотрудником «малой прессы» и начал писать во всех ее жанрах.

Первая его публикация состоялась 9 марта 1880 в петербургском еженедельнике «Стрекоза». Это было «Письмо донского помещика Степана Владимировича Н. к ученому соседу д-ру Фридриху». В этом произведении ничего еще нет не только от великого писателя Антона Павловича Чехова, но даже от прекрасного юмориста Антоши Чехонте (этим псевдонимом — по своему гимназическому прозвищу — Чехов чаще всего подписывал публикации тех лет; всего же у него было тогда более 50 псевдонимов). Но именно в «Письме к ученому соседу» появился первый чеховский афоризм, до сих пор цитируемый во всех случаях, когда надо обозначить «точную меру невежества, абсолютный интеллектуальный нуль, ниже которого ничего уже нет — ни логики в мыслях, ни смысла в словах»: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда».

Сколько их будет потом, блистательных примеров чеховского юмора! Его перу принадлежат фразы: «В Греции все есть»; «Смотрите: надел размахайку и думает, что он умный человек»; «Я твой законнорожденный муж»; «Польза просвещения находится еще под сомнением, вред же, им приносимый, очевиден» и множество других.

Мэтром и законодателем нравов в «малой прессе» был Николай Александрович Лейкин, издатель петербургского журнала «Осколки» и плодовитый (только книг издал 57, не говоря уже о фельетонах и сценках!) беллетрист. Он довольно скоро выделил среди авторов «малой прессы» Антошу Чехонте и привлек его к сотрудничеству в своем журнале. Правда, Лейкина беспокоило, что со временем его, как он считал, «ученик» стал писать вещи, слишком серьезные для юмористического издания. Однако он прекрасно понимал, какого сотрудника имеют «Осколки» в лице Антоши Чехонте, и дорожил своим автором, талант которого напрямую влиял на тираж журнала.

В 1880 и 1881 Чехов опубликовал в «малой прессе» по двенадцать произведений; начиная с 1882 у него бывало более ста публикаций за год. Из своих ранних рассказов

Чехов составил сборник «Шалость». Брат Николай сделал к книге иллюстрации, она была набрана, но вышла в свет лишь в количестве двух экземпляров. В 1882–1883 среди множества других были написаны такие шедевры, как «Толстый и тонкий» (в первой редакции), «Хамелеон», «Смерть чиновника», «Дочь Альбиона».

Это было, по словам знавшего Чехова литератора А. Амфитеатрова, «время той немой, бесшабашно-резвой, чтобы не сказать — шалой производительности, когда Антон Павлович на вопрос, откуда он берет такую пропасть тем для рассказов, весело усмеялся:

— Да вот у вас пуговица на жилете болтается, того гляди потеряете. Хотите, присяду и напишу рассказ о вашей пуговице?»

Приобщение к ежедневному писательскому труду произошло не в последнюю очередь с помощью Лейкина. С июня 1883 Чехов вел в его журнале постоянное обозрение в форме фельетона, называвшееся «Осколки московской жизни», и продолжал писать юмористические рассказы. «Писать нужно больше, одно скажу, — внушал Лейкин молодому автору. — Надо выгнать из себя ленивого человека и нахлыстать себя. Ведь нахлыстываю же себя я. Вы говорите, надо читать, заниматься наукой. Ничего не значит: я и читаю, и занимаюсь наукой, слежу даже за успехами медицины по медицинским журналам, не бросаю следить за моей любимой археологией, и все-таки, нахлыстав себя, пишу ежедневно».

Чехов и сам настаивал на том, что писатель должен писать много. Но его понимание многописания отличалось от лейкинского. «Писатель должен много писать, но не должен спешить», — утверждал он.

На медицинском факультете Московского университета, на котором продолжал учиться Чехов, в те годы читали лекции выдающиеся русские ученые: крупнейший терапевт Г. Захарьин, один из первых патологоанатомов А. Остроумов, великий хирург Н. Склифосовский, основоположник отечественной научной гигиены Ф. Эрисман. Чехов посещал также лекции по истории профессора В. Ключевского. (Возможно, под их влиянием он впоследствии задумал работу «Врачебное дело в России».) Скорее всего из-за постоянной работы для журналов Чехов не много времени проводил в студенческой среде. Университетские товарищи, помимо его благожелательности и дружелюбия, вспоминают главным образом о том, что он аккуратно посещал лекции и клиники (можно догадаться, как нелегко это было при его занятости) и получал отличные и хорошие отметки. За все время учебы Чехов имел только одну удовлетворительную отметку; нынешние студенты-медики могут по достоинству оценить, какого колоссального труда это потребовало.

Как врач Чехов всю жизнь работал бесплатно, будучи при этом высококвалифицированным профессионалом широкого профиля. Это было сознательное решение, от которого он не отступил ни разу. И это была не работа от случая к случаю, а постоянная практика участкового врача, опасная работа во время эпидемии холеры в Тульской губернии и массового голода — в Нижегородской и Воронежской.

Знавшие Чехова врачи отзывались о нем, как о прекрасном диагносте, о чем свидетельствуют немногие дошедшие до нас диагнозы, поставленные им, — литератору Ф. Попудогло, актеру П. Свободину, художнику И. Левитану, писателю Н. Лескову. Некоторые из знакомых Чехова понимали его диагностический талант шире — как талант провидческий, почти мистический. Об этом вспоминал, например, К. Станиславский, на глазах которого Чехов распознал во вполне жизнерадостном человеке, которого видел несколько минут, будущего самоубийцу. Еще более поразительная вещь случилась во время плавания на пароходе из Сухуми в Поти летом 1888. Чехов написал тогда:

«Глядя на толстенького капитана, я чувствую жалость... Мне что-то шепчет, что этот бедняк рано или поздно тоже пойдет ко дну и захлебнется соленой водой...» Пароход затонул той же осенью.

«Мое пророческое чувство меня не обманывало никогда — ни в жизни, ни в моей медицинской практике», — писал Чехов.

Он предсказал долгую жизнь Бунину. Суворину написал: «Вы будете жить еще 26 лет и 7 месяцев»; тот умер через 21 год. Интересно, что он заметил о молодом Горьком:

«По-моему, будет время, когда произведения Горького забудут, но он сам едва ли будет забыт даже через тысячу лет. Так я думаю или так мне кажется, а быть может, я и ошибаюсь».

Чехов занялся практической медициной еще будучи студентом последнего курса. Семья Чеховых проводила лето у брата Ивана в Воскресенске, и Антон Павлович работал близ этого города в Чикинской земской больнице. В следующем, 1884, он приехал сюда уже дипломированным врачом и вел прием через день. В течение двух месяцев заменяя уехавшего в отпуск земского врача в Звенигороде, он принимал до 40 больных ежедневно. При этом он нашел время для того, чтобы высадить возле Звенигородской больницы аллею лиственниц.

В 1884 у Чехова случилось первое легочное кровотечение. Ни тогда, ни четырьмя годами позже, Чехов не позволял осмотреть себя врачам, хотя, сам будучи врачом и имея в семье больного туберкулезом брата Николая, едва ли мог питать иллюзии относительно своей болезни. Судя по его скупым высказываниям на эту тему, дело было в том, что он не хотел вести образ жизни, на который был обречен туберкулезный больной.

Практическая медицина, которой Чехов занимался всю жизнь, воспитала в нем особое самоощущение художника. «Медицина — моя законная жена, а литература — любовница», — эти слова написаны им в шутку. Было и более серьезное понимание того, как соединились в его жизни эти два занятия.

«Не сомневаюсь, занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную деятельность; они значительно раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня знаниями, истинную цену которых для меня, как для писателя, может понять только тот, кто сам врач; они имели также и направляющее влияние, и, вероятно, благодаря близости к медицине, мне удалось избежать многих ошибок. Знакомство с естественными науками, научным методом всегда держало меня настороже, и я старался, где было возможно, соотноситься с научными данными, а где не возможно — предпочитал не писать вовсе», —

написал Чехов в автобиографии, подготовленной для юбилейного сборника его университетского выпуска.

В самоощущении Чехова-художника многое совпадало с самоощущением прирожденного врача. Ему было в высшей степени присуще ясное и суровое понимание жизни и смерти, которое не слишком проникательные люди (в их числе, кстати, был молодой Горький) склонны были оценивать как писательскую холодность. Известный публицист и теоретик народничества Н. Михайловский постоянно обращал внимание на равнодушие Чехова к изображаемому: «Чехову все едино — что человек, что его тень, что колокольчик, что самоубийца». С литературоведческой точки зрения в этом высказывании чувствуется полное непонимание того, что составляло сущность творческого метода Чехова, в котором, по наблюдениям М. Громова, «прямые, обнаженные внешние описания замещены целой системой приемов, подчеркивающих сокровенную сдержанность душевных движений; боль, страдание, страсть таятся от внешнего мира, скрываются от посторонних глаз, и не должно казаться удивительным, что Чехов так часто писал о молчании».

Ни в одном художественном высказывании Чехова о смерти нет ни пошлой патетики, ни профессионального цинизма.

«Врачуя публику, я привык видеть людей, которые скоро умрут и... всегда чувствовал себя как-то странно, когда при мне говорили, улыбались или плакали люди, смерть которых была близка», —

писал он. Чехов не искал для этого ощущения исчерпывающего определения. Возможно, вся его творческая манера, которую поверхностная критика склонна была объявить «холодной», была связана именно с невозможностью это определение дать...

Правда, сам Чехов объяснял свою художественную манеру в более сдержанном тоне. Например, он так писал Суворину:

«Вы браните меня за объективность, называя ее равнодушием к добру и злу, отсутствием идеалов и идей и проч. Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей есть зло. Но ведь это и без меня давно уже известно. ...Конечно, было бы приятно сочетать искусство с проповедью, но для меня лично это чрезвычайно трудно и почти невозможно по условиям техники».

При этом все знавшие Чехова вспоминают о внимании и сочувствии, свойственном ему как врачу и человеку.

И, конечно, медицинская практика давала Чехову богатейший жизненный материал для творчества. Имеется в виду не только общение с больными, но и весь жизненный круг, в котором находился практикующий врач: выезды на судебно-медицинские вскрытия, земская деятельность. Работая в Воскресенске, Чехов познакомился, например, с семьей артиллерийского полковника Маевского, с бытом офицеров артиллерийской батареи. Многие из того, что он тогда узнал, воплотилось в пьесе «Три сестры».

Только профессиональный медик мог создать образы врачей Астрова, Дымова, Соболя, Рагина, Старцева, написать «Палату № 6», «Скучную историю», «Случай из практики», «Ионыча», «Черного монаха». Точнее говоря, Чехов мог написать эти рассказы, только будучи врачом.

В год окончания университета вышел в свет первый сборник Чехова «Сказки Мельпомены. Шесть рассказов Антоши Чехонте».

В декабре 1885 состоялась его первая поездка в Петербург, важность которой для дальнейшего творческого пути Чехова трудно переоценить.

Переломный год

Чехова привез в Петербург Лейкин. В его доме он и остановился, получив «пару лошадей, отменный стол, даровые билеты во все театры» и будучи принужден выслушивать лейкинские взгляды на то, какой должна быть литература. В этот приезд Чехов впервые встретился с людьми другого круга — не «малой прессой», а большой литературы: с А. Сувориным, Д. Григоровичем. Чехов недавно дебютировал в «Петербургской газете» с рассказом «Последняя могижанша». (В этой же газете спустя год появился рассказ «Ванька».) Он был поражен тем отношением, которое встретил в Петербурге, где «все... приглашало, воспевало... и мне жутко стало, что я писал небрежно, спустя рукава».

С этой поездки начались многолетние дружеские отношения с А. Сувориным — публицистом, беллетристом, драматургом, крупным издателем. Чехов сотрудничал в его газете «Новое время» до начала 1890-х. Суворин издал чеховские сборники «В сумерках» (1887), «Хмурые люди» (1890), «Пьесы» (1897) и другие.

Чехов долгие годы находился под обаянием талантливой личности Суворина. Именно в обширной переписке с ним он высказал большую часть своих эстетических взглядов. Чехов гостил у Суворина в Петербурге и на даче в Феодосии, Суворин был его гостем в Мелихове. Отдаление произошло в конце 1890-х во время дела Дрейфуса — французского офицера, несправедливо осужденного по подозрению в шпионаже. Это дело, в котором защитником Дрейфуса стал писатель Эмиль Золя, взбудоражило всю Европу. Чехову претили верноподданничество, шовинизм и откровенный антисемитизм (Дрейфус был евреем), выказанные Сувориным по отношению к этому делу, так же как и по отношению к студенческим волнениям в России.

Ощущение того, что его литературная деятельность воспринимается всерьез, усилилось после письма Д. Григоровича 25 марта 1886. В этом письме литературный патриарх впервые признался Чехову в том, что видит у него «настоящий талант, — талант, выдвигающий Вас далеко из круга литераторов нового поколения».

«Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных, истинно художественных произведений, – писал Григорович. – Вы совершите великий нравственный грех, если не оправдаете таких ожиданий. Для этого вот что нужно: уважение к таланту, который дается так редко. Бросьте срочную работу. Я не знаю Ваших средств; если у Вас их мало, голодайте лучше, как мы в свое время голодали, поберегите Ваши впечатления для труда обдуманного, обделанного, писанного не в один присест, но писанного в счастливые часы внутреннего настроения. Один такой труд будет во сто раз выше оценен сотни прекрасных рассказов, разбросанных в разное время по газетам; Вы сразу возьмете приз и станете на видную точку в глазах чутких людей и затем всей читающей публики».

Это было первое признание чеховского таланта. Потрясенный и взволнованный, он ответил Григоровичу в стиле, редком для его писем, обычно сдержанных и даже ироничных:

«Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня, как молния. Я едва не заплакал, разволновался и теперь чувствую, что оно оставило глубокий след в моей душе. Как Вы приласкали мою молодость, так пусть Бог успокоит Вашу старость, я же не найду ни слов, ни дел, чтобы благодарить Вас. ...Если у меня есть дар, который следует уважать, то, какую перед чистотою Вашего сердца, я доселе не уважал его. Я чувствовал, что он у меня есть, но привык считать его ничтожным. ...У меня в Москве сотни знакомых, между ними десятка два пишущих, и я не могу припомнить ни одного, который читал бы меня или видел во мне художника».

Чехов понимал, что выбиться из колеи срочной работы будет нелегко — в том числе и по материальным причинам. Он был к тому времени главой и практически единственным кормильцем большого семейства: отца, матери, больного брата Николая, брата Михаила и сестры Марии. Брат Иван, сколько мог, помогал материально, однако имел к тому времени жену и детей, и его возможности были ограничены. Александр, также имея детей, вообще не стремился помогать родительской семье. Поэтому материальное положение Антона Павловича было в то время так стеснено, что он, будучи известным литератором, не имел средств, чтобы обновить свой «неприличный сюртук». Голодать же по совету Григоровича он себе позволить не мог — точнее, в силу своего характера, не мог позволить, чтобы голодали зависящие от него родственники.

Но понимание того, что переменить свою писательскую судьбу необходимо, постепенно укреплялось в Чехове.

Переломным в его судьбе стал 1888 год. К тому времени Чехов уже был весьма известным писателем, автором не только «малой прессы», но и престижной суворинской газеты «Новое время». Вышли его сборники «Пестрые рассказы» (с указанием авторства «А. Чехонте (Ан. П. Чехов)»), «В сумерках» (за него годом позже будет присуждена высшая литературная награда — академическая Пушкинская премия) и «Невинные речи». Состоялась премьера его комедии «Иванов» в московском театре Ф. Корша.

Переменам, происходящим в писательском мире Чехова, способствовала и среда, в которой он оказался. Три лета (1885–1887) Чехов с семьей провел в Бабкине, имении близ Воскресенска, которое принадлежало известной аристократической семье Киселевых. Хозяин имения А. Киселев был племянником русского посла в Париже, его жена М. Киселева — внучкой просветителя екатерининской эпохи Н. Новикова и дочерью экс-директора московских императорских театров В. Бегичева. Изящество и вкус в повседневном поведении, глубокие духовные интересы, споры об искусстве как о насущном жизненном явлении, — было то, что всю жизнь ценил Чехов. И все это он нашел в бабкинском обществе.

Здесь в полной мере проявилась его жизнерадостность, чувство юмора, кипучая энергия общения. В Бабкине много музицировали, разыгрывали шарады, писали пародии, катались на лодках и на осле, устраивали юмористические суды — то над художником Левитаном, то над Николаем Чеховым, который постоянно нарушал «питейный устав».

В Бабкине Чехов вполне отдался любимейшему своему делу — рыбалке. Он рассказывал об этом в каждом письме, и, вероятно, сам переживал то, о чем написал в рассказе «Мечты»: «Поймаешь налима или голавля какого-нибудь, так словно брата родного увидел». Он считал, что многие лучшие произведения русской литературы задуманы за рыбной ловлей.

Чехов с нежностью и уважением относился к людям, окружавшим его в Бабкине, любил ту жизнь, которую они вели. И в то же время чувствовал, что мир этих людей — утонченных, беспомощных, изящных — уходит... Образы бабкинских обитателей и картины бабкинской жизни, которая спустя несколько лет завершилась продажей Киселевского имения за долги, в какой-то мере воплощены в героях «Вишневого сада».

При разнообразном общении, в котором Чехов испытывал постоянную потребность и которое происходило в Бабкине, а затем и в доме, который писатель снимал в Москве на Садовой-Кудринской, — он работал с огромной интенсивностью. Социальный мир его рассказов невероятно широк. Его герои представляют практически все слои тогдашнего общества: помещики, крестьяне, купцы, священники, полицейские, судейские, воры, гимназисты, студенты, чиновники всех рангов, учителя, врачи и многие, многие другие. Знавшие его в те годы вспоминают, как мгновенно и глубоко он уходил в себя:

«Он всегда думал, всегда, всякую минуту, всякую секунду. Слушая веселый рассказ, сам рассказывая что-нибудь, сидя в приятельской пирушке, говоря с женщиной, играя с собакой — Чехов всегда думал. Благодаря этому он иногда сам обрывался на полуслове, задавал вам, кажется, совсем неподходящий вопрос и казался иногда даже рассеянным. Благодаря этому он среди разговора присаживался к столу и что-то писал на своих листках почтовой бумаги; благодаря этому, стоя лицом к лицу с вами, он вдруг начинал смотреть куда-то вглубь себя...»

В эти годы созданы рассказы «Цветы запоздалые», «Два скандала», «Егерь», «Кухарка женится», «Горе», «Враги», «Агафья», «Святой ночью», «Ведьма» и многие другие.

Лето 1888 Чехов провел с семьей на Украине, в усадьбе Лука на реке Псел, где нанял дачу у семьи Линтваревых. Места эти были исполнены поэтичности, которую Чехов чувствовал с присущей ему тонкостью:

«Природа и жизнь построены по тому самому шаблону, который теперь так устарел и бракуется в редакциях: не говоря уж о соловьях, которые поют день и ночь, о лае собак, который слышится издали, о старых запущенных садах, о забитых наглухо, очень поэтичных и грустных усадьбах, в которых живут души красивых женщин, не говоря уж о старых, дышащих на ладан лакеях-крепостниках... недалеко от меня имеется даже такой заезженный шаблон, как водяная мельница (о 16 колесах) с мельником и его дочкой, которая всегда сидит у окна и, по-видимому, чего-то ждет».

Имение Лука описано Чеховым в рассказе «Именины» (1888).

Атмосфера жизни в Луке была проще, чем в Бабкине, но так же полна разговоров о литературе и музицирования. Чехов много ездил по Украине и Крыму. Он посетил Сумы, Сорочинцы, Полтавскую губернию, Харьков, Севастополь, Ялту. Жил на даче Суворина в Феодосии, а затем поехал с его сыном на Кавказ — в Новый Афон, Сухуми, Поти, Батум, Тифлис, Баку.

В 1888 Чехов написал повесть «Степь (История одной поездки)» — рубежное произведение, отделившее раннее творчество Антоши Чехонте от прозы Антона Павловича Чехова. Разумеется, говорить о раздельности этапов жизни крупной творческой личности можно лишь условно, да и не все чеховские рассказы до 1888 были юмористическими. Но, возможно, именно в «Степи» Чехов начал в полной мере воплощать то, в чем признался как-то Григоровичу:

«Писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги и которые я, Бог знает почему, берег и тщательно прятал».

Образы и картины «Степи» связаны с первыми детскими впечатлениями Чехова. Мальчиком он часто навещал деда, управляющего имениями графов Платовых в Приазовье. Путешествие девятилетнего мальчика Егорушки по степи во многом автобиографично. Некоторые эпизоды повести — например, сцена на еврейском постоялом дворе — напрямую повторяют события чеховского детства, которые, по его словам, врезались в его память как «Отче наш». Но художественные обобщения, сделанные Чеховым в «Степи», выводят ее далеко за рамки автобиографии.

До начала работы над повестью, в 1887 Чехов предпринял путешествие по Приазовью: проехал через Таганрог, Новочеркасск, Рагозину балку, Луганск, Святые горы. Письма, написанные во время этого путешествия, напоминают дневник, повесть же являет собою художественное произведение необыкновенной поэтичности. По наблюдению А. Чудакова, «Степь», которую некоторые исследователи провозглашают едва ли не детской повестью, вобрала в себя размышления Чехова над неразрешенными вопросами жизни, смерти, над глубоко для него личной проблемой одиночества».

Большинство тогдашних критиков восприняло «Степь» как набор этнографических наблюдений, связанных друг с другом не более, чем картинки в калейдоскопе. Произведение рассматривалось в той системе ценностей, в которой художественное новаторство Чехова считалось неудачей.

Чехов не стремился дать определение человеческим типам и жизненным явлениям, которые предстали перед его героем Егорушкой. В «Степи» он словно попробовал еще один вариант найденного и принятого им для себя творческого метода, который получил название «объективного»: когда автор «растворяется» в героях и картинах, не стремясь делать прямых обобщений и выводов, а предоставляя это читателю.

Этот метод, естественно воспринимаемый теперь, вызывал у многих критиков неприязнь по отношению к Чехову. Вообще, даже будучи уже признанным писателем, Чехов не раз читал о себе критические замечания, кажущиеся теперь по меньшей мере странными: «Как “Бабы царство”, так и “Три года”, переполнены страницами ненужных подробностей» (В. Буренин); «Г. Чехов ничего не доискивается от природы и жизни, ничего ему не нужно разрешить, ничто в особенности не захватывает его внимания. Он просто вышел гулять в жизнь» (Р. Дистерло) и т. п.

Особенные нападки критики вызвал финал рассказа «Огни», написанного в один год со «Степью»: «Ничего не разберешь на этом свете!» Большинство критиков считали, что дело писателя — именно «разбирать». Полемизируя с ними, Чехов писал своему приятелю, литератору И. Леонтьеву-Щеглову:

«Не дело психолога понимать то, чего он не понимает. Паче сего, не дело психолога делать вид, что он понимает то, чего не понимает никто. Мы не будем шарлатанить и станем заявлять прямо, что на этом свете ничего не разберешь. Все знают и все понимают только дураки да шарлатаны».

Однако «механизм» чеховского творчества гораздо сложнее, чем облегченно-созерцательное описание жизни «как она есть». Он пытался объяснить это Суворину:

«Вспомните, что писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими и которые пьянят нас, имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то идут и Вас зовут туда же, и Вы чувствуете не умом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель, как у тени отца Гамлета, которая недаром приходила и тревожила воображение. У одних, смотря по калибру, цели ближайшие — крепостное право, освобождение родины, политика, красота или просто водка, как у Дениса Давыдова, у других цели отдаленные — Бог, загробная жизнь, счастье человечества и т. п. Лучшие из них реальны и пишут жизнь такую, какая она есть, но оттого, что каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели, Вы, кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет Вас».

В основе чеховской объективной манеры лежит не бесстрастие статистика, а нежелание художника искать для жизни определений и понимание того, что сделать это невоз-

можно. Это понимание ощутимо во всех произведениях Чехова и часто высказывается напрямую: «Если бы знать!» в «Трех сестрах»; «Никто не знает настоящей правды» в «Дуэли»...

Мельчайшие проявления жизни (Толстой говорил, что в рассказах Чехова каждая деталь или прекрасна, или нужна) были для него важнее, чем глобальные идейные конструкции, которым люди готовы подчинять свою жизнь. Это вовсе не значило, что Чехов не понимал необходимости духовной подоплеки человеческих поступков. На обвинения в «безыдейности» он отвечал:

«Я боюсь тех, кто между строк ищет тенденции и кто хочет видеть меня непременно либералом или консерватором. Я не либерал, не консерватор, не постепенец, не монах, не индифферентист. Я хотел бы быть свободным художником и — только, и жалею, что Бог не дал мне силы, чтобы быть им. Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах... Фарисейство, тупоумие и произвол царят не в одних только купеческих домах и кутузках; я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи... Потому я одинаково не питаю особого пристрастия ни к жан-дармам, ни к мясникам, ни к ученым, ни к писателям, ни к молодежи. Фирму и ярлык я считаю предрассудком. Мое святое святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались. Вот программа, которой я держался бы, если бы был большим художником».

При этом Чехову совершенно чужда была болезненная боязнь, свойственная многим: как бы не быть по ошибке причисленным не к тому идейному лагерю.

«...Не боюсь ли я, чтобы меня сочли либералом? ...Мне кажется, что меня можно скорее обвинить в обжорстве, в пьянстве, в легкомыслии, в холодности, в чем угодно, но только не в желании казаться или не казаться... Я никогда не прятался».

У современных читателей обвинения Чехова в безыдейности вызывают по меньшей мере недоумение. Это недоумение возрастает, когда речь заходит о его поездке на Сахалин.

«Желание служить общему благу»

Чехов выехал на Сахалин 21 апреля 1890. Проехав через Сибирь и Дальний Восток, он попал на «каторжный остров» 11 июля и пробыл там до 13 октября.

Пожалуй, не было человека среди его родных и друзей, который не отговаривал бы Чехова от этого путешествия. Большинство, вероятно, беспокоились о его здоровье: он уже был болен туберкулезом, год назад скончался от этой болезни его брат Николай.

Но Чехов был непреклонен в своем решении. Он называл разные причины, заставившие его предпринять эту тяжелейшую поездку. Присущее ему всю жизнь желание путешествовать было в данном случае не главным. Было тяжелое душевное состояние, вызванное смертью брата. Было ощущение «бега на месте», о котором он писал еще за два года до поездки:

«Мне опротивело писать и я не знаю, что делать. Я охотно бы занялся медициной, взял бы какое-нибудь место, но уже не хватает физической гибкости. Когда я теперь пишу, или думаю о том, что надо писать, то у меня такое отвращение, как будто я ем щи, из которых вынули таракана — простите за сравнение. Противно мне не само писание, а этот литературный entourage, от которого никуда не спрячешься и который носишь в себе всюду, как земля носит свою атмосферу».

И была та внутренняя потребность, о которой «безыдейный» Чехов мог прямо говорить только близким друзьям. Весьма показательным в этом смысле его письмо к Суворину, в котором Чехов на редкость откровенно объясняет цель своей поездки:

«Еду я совершенно уверенный, что моя поездка не даст ценного вклада ни в литературу, ни в науку: не хватит на это ни знаний, ни времени, ни претензий. ...Я еще не ездил, но благодаря тем книжкам, которые прочел теперь по необходимости, я узнал многое такое, что следует знать всякому под страхом 40 плетей и чего я имел невежество не знать раньше. К тому же, полагаю,

поездка — это непрерывный полугодовой труд, физический и умственный, а для меня это необходимо, так как я хохол и стал уже лениться. ...Пусть поездка не даст мне ровно ничего, но неужели все-таки за всю поездку не случится таких 2–3 дней, о которых я всю жизнь буду вспоминать с восторгом или с горечью? ...Вы пишете, что Сахалин никому не нужен и ни для кого не интересен. Будто бы это верно? Сахалин может быть ненужным и неинтересным только для того общества, которое несылает на него тысячи людей и не тратит на него миллионов. ...Не дальше как 25–30 лет назад наши же русские люди, исследуя Сахалин, совершали изумительные подвиги, за которые можно боготворить человека, а нам это не нужно, мы не знаем, что это за люди, и только сидим в четырех стенах и жалуемся, что Бог дурно создал человека. Сахалин — это место невыносимых страданий, на которые только бывает способен человек вольный и подневольный. Работавшие около него и на нем решали страшные, ответственные задачи и теперь решают. ...Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это сваливали на тюремных красноносых смотрителей. Теперь вся образованная Европа знает, что виноваты не смотрители, а все мы, но нам до этого дела нет, это неинтересно».

Собираясь на Сахалин, Чехов изучил всю имевшуюся к тому времени литературу о тюрьмах и местах заключения. Он хотел видеть русскую каторгу не из праздного любопытства, и даже не для одного только сбора фактического материала, который можно было бы впоследствии использовать для творчества. Он чувствовал, что каторга «может быть, одна из самых ужасных нелепостей, до которых мог додуматься человек со своими условными понятиями о жизни и правде», и хотел видеть эту ужасную нелепость своими глазами.

Материальные возможности Чехова были так же невелики, как и его здоровье. До Ярославля он поехал в третьем классе поезда. Далее — пароходом по Волге и Каме до Нижнего Новгорода и Перми, поездом до Екатеринбурга и Тюмени и на лошадях по Сибири. «Коннолошадное странствие» включало в себя Ишим, Томск, Омск, Ачинск, Красноярск, Канск, Иркутск, Нерчинск, Сретенск, Благовещенск, Николаевск. При тогдашнем состоянии российских дорог такое путешествие заняло три месяца и само по себе было подвигом. С дороги Чехов отсылал корреспонденции в газеты, хотя он ехал без редакционного задания.

Без чьего-либо задания была им сделана и перепись сахалинского населения, которую он задумал и осуществил самостоятельно. Для этого Чехов побеседовал буквально с каждым сахалинским жителем, обошел весь остров и заполнил около десяти тысяч учетных карточек.

«Я вставал каждый день в 5 часов утра, ложился поздно... Я объездил все поселения, заходил во все избы и говорил с каждым... мною уже записано около десяти тысяч человек... Другими словами, на Сахалине нет ни одного каторжного или поселенца, который не разговаривал бы со мной», —

сообщал он Суворину 11 сентября 1890.

Значение этого труда выходит далеко за рамки статистики. Чехов сделал все, что мог, для того чтобы не пропали бесследно ужасные судьбы людей, увиденных им на каторжном острове. Он воочию убедился в том, как относительно человеческие понятия о справедливости. Для этого достаточно было увидеть шестилетнюю девочку, которая шла по этапу с отцом, убившим ее мать. Девочка ходила, держась за отцовские кандалы, а ночью спала в одной куче с арестантами и солдатами. Таких судеб перед глазами Чехова прошло много. Так же много, как и судеб, о которых он писал родным: «Боже мой, как богата Россия хорошими людьми!»

Чехов вернулся в Россию морем: из Владивостока через Гонконг, Сингапур, Коломбо, Индийский океан, Суэцкий пролив, Константинополь, Одессу. Десять лет спустя, написав Горькому о том, что писатель должен «больше видеть, больше знать, шире

знать», Чехов помянул и о своем путешествии: «Когда в прошлом есть Индия, долгое плавание, то во время бессонницы есть о чем вспомнить».

Впечатления сахалинской поездки непосредственно воплотились в рассказах «Гусев» (1890), «Бабы» (1891), «В ссылке» (1894), «Убийство» (1895). Но условность человеческих понятий о лжи и правде показана, конечно, не только в тех произведениях Чехова, действие которых связано с сахалинской каторгой.

По материалам этого путешествия написан цикл очерков «Из Сибири» и книга «Остров Сахалин» (закончена в 1893).

«Остров Сахалин» задумывался как научный труд, который «состоять будет из одних только цифр». Но, работая, Чехов искал тон, который позволил бы писать художественно и вместе с тем «протоколно, без жалких слов», не отнимая у сюжета «его суворость и все то, что в нем достойно внимания».

Критика в основном сошлась на том, что сахалинские впечатления слабо отразились в творчестве Чехова. Но сам он считал, что после этой поездки в его творчестве все «про-сахалинено». Непосредственно же о книге он писал Суворину:

«И я рад, что в моем беллетристическом гардеробе будет висеть и сей жесткий арестантский халат. Пусть висит!»

Сразу по возвращении с Сахалина Чехов начал работать над повестью «Дуэль». Действие ее происходит на Кавказе, но тоска и ностальгия Лаевского по другому краю и другой жизни, — совершенно сахалинские. «Просахалиненным» можно считать и диалог между зоологом фон Кореном и доктором Самойленко. В ответ на слова фон Корена о необходимости ради сохранения человечества «изолировать» никчемного Лаевского или отдать его в общественные работы, а еще лучше утопить или повесить, Самойленко отвечает: «Если людей топить и вешать, то к черту твою цивилизацию, к черту человечество! к черту!»

Рассказ «Палата № 6» создавался одновременно с главами «Острова Сахалин». Философия этого рассказа не исчерпывается сахалинскими размышлениями автора; в ней присутствует, по словам художника И. Репина «неотразимая, глубокая и колоссальная идея человечества». Но, например, высказанная в «Палате № 6» мысль о том, что чувство жизни выражается у человека в чуткости к боли, в способности реагировать на подлость и мерзость, — перекликается с мыслью «Острова Сахалин» о том, что именно сознание жизни побуждает осужденного преступника к действию, к решающему для его судьбы поступку — побегу.

Весной 1891 Чехов предпринял вместе с Сувориным путешествие по Европе. Не зря сестра называла его непоседой! Суворин именно во время этого путешествия «понял во весь рост все величие и всю трагическую глубину этого удивительного человека». Вместе они побывали в Вене, Венеции, Болонье, Флоренции, Риме, Неаполе, Помпее, Ницце, Монте-Карло, Париже.

Во время путешествия Чехов делал наброски к повести «Три года».

К большому удивлению Чехова, в России пошел слух, будто в Европе ему не понравилось. Истинное же его впечатление было прямо противоположно этому досужему вымыслу. Вену «нельзя сравнить ни с одним из тех городов, какие я видел в своей жизни». В Венеции есть здания, «по которым я чувствую подобно тому, как по нотам поют, чувствую изумительную красоту и наслаждаюсь». «Италия, не говоря уже о природе ее и тепле, единственная страна, где убеждаешься, что искусство в самом деле есть царь всего, а такое убеждение дает бодрость». Вообще же, «русскому человеку, бедному и приниженному, здесь, в мире красоты, богатства и свободы, нетрудно сойти с ума. Хочется здесь навеки остаться, а когда стоишь в церкви и слушаешь орган, то хочется принять католичество».

Восхищение Чехова Европой не означало, что родина начала вызывать у него снисходительное чувство. И живя дома, и путешествуя за границей, он ощущал огромное

разнообразие русской жизни, в которой, как он говорил В. Немировичу-Данченко, есть все, и яркое, и тусклое.

С мрачными, тяжелыми проявлениями русской действительности Чехов столкнулся сразу по возвращении на родину. В декабре 1891 он начал работу по помощи голодающим Нижегородской и Воронежской губерний: сначала занимался сбором средств, а в январе 1892 выехал в голодающие губернии. События голодного года отразились в рассказе «Жена» (1891), который, по признанию Чехова, был им написан на злобу дня.

В работе «на голоде», так же как и в поездке на Сахалин, в полной мере сказалась потребность деятельности на общее благо, в высшей степени присущая Чехову.

Он регулярно посылал книги в городскую библиотеку Таганрога и заботился о книгах для Сахалина. «Вообще книг отправлена чертова пропасть. По счету приходится уплатить Суворину за учебники 666 руб.», – сообщал он в 1891 брату Ивану.

Чехов способствовал установке в Таганроге памятника Петру I и открытию художественной галереи.

Его стараниями был спасен от закрытия в связи с нехваткой средств медицинский журнал «Хирургическая летопись», издаваемый Н. Склифосовским.

Живя в Мелихове, Чехов вновь принял участие в переписи населения.

Он был попечителем и членом совета Талежского училища и помощником председателя дворянства по наблюдению за народными училищами Серпуховского уезда.

Незадолго до смерти он способствовал открытию в Ялте санатория для туберкулезных больных.

Чехов занимался общественными делами не потому, что такова была его идейная программа, и не ради показного «спасения души». Не обольщался он и на тот счет, что его усилиями общественное и индивидуальное человеческое устройство сделается совершенным. «Гуртовое невежество, голод, холод, вырождение» он считал проявлениями стихийной силы. И, подобно герою рассказа «Случай из практики», «как медик, правильно судивший о хронических страданиях, коренная причина которых была непонятна и неизлечима, не считал возможным искоренить эту причину как таковую, раз и навсегда — в отличие от социалистов и прочих поспешных и неумных “благодетелей человечества”».

Чехов не обольщался и на счет интеллигенции, от которой, казалось бы, естественно было ожидать содействия общему благу.

«Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр», –

писал он земскому врачу И. Орлову в феврале 1899. Однако письмо Орлову не ограничивается этой мыслью.

«Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям — интеллигенты они или мужики, — в них сила, хотя их и мало. Несть праведен пророк в отечестве своем; и отдельные личности, о которых я говорю, играют незаметную роль в обществе, они не доминируют, но работа их видна; что бы там ни было, наука все подвигается вперед и вперед, общественное самосознание нарастает, нравственные вопросы начинают приобретать беспокойный характер... и все это делается ... несмотря ни на что».

Общественная деятельность Чехова имела глубокую и естественную основу:

«Желание служить общему благу должно непременно быть потребностью души, условием личного счастья; если же оно проистекает не отсюда, а из теоретических или иных соображений, то оно не то».

Счастливыми — и в этом, и в других смыслах — были годы, проведенные Чеховым в Мелихове.

«Течение мелиховской жизни»

«Если я врач, то мне нужны больные и больница; если я литератор, то мне нужно жить среди народа, а не на Малой Дмитровке с мангустом. (Мангуста Чехов купил, возвращаясь с Сахалина.) Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни, хоть маленький кусочек, а эта жизнь в четырех стенах без природы, без людей, без отечества, без здоровья и аппетита — это не жизнь», —

объяснял он в 1891 Суворину свое желание купить имение. Сказывались, разумеется, и суетность, и дороговизна московской жизни.

Усадьба Мелихово была куплена в 1892 у художника Н. Сорохтина. Условия продавца (рассрочка выплат) впоследствии оказались невыгодными, но тогдашняя банковская система с кредитами и залоговыми позволяла сделать такую покупку даже не слишком состоятельному человеку. Мелихово находилось в Серпуховском уезде, в полутора десятках верст от станции Лопасня (ныне город Чехов Московской области) Московско-Курской железной дороги. Чехов с семьей переехал туда 4 марта 1892. Через три дня он писал А. Киселеву:

«Не было хлопот, так купила баба порося! Купили и мы порося — большое, громоздкое имение, владельцу которого в Германии непременно дали бы титул герцога. 213 десятин на двух участках. Череспосолица. Больше ста десятин лесу, который через 20 лет будет походить на лес, теперь же изображает собою кустарник. Называют его оглобельным, по-моему же, к нему более подходит название розговой, так как из него пока можно изготовлять только розги. ...Фруктовый сад. Парк. Большие деревья, длинные липовые аллеи».

В другом письме, к Суворину, Чехов замечал, что в его усадьбе «все в миниатюре: маленькая липовая аллея, пруд величиной с аквариум, маленькие сад и парк, маленькие деревья, но пройдешься раз-другой, взглядишься — и впечатление маленького исчезает».

Хотя Чехов и замечал в шутку, что «писатель — беспутная профессия, не терпящая совместительства», — но, поселившись в собственной усадьбе, он с удовольствием отдался хозяйственным заботам. Младший брат Михаил вспоминал:

«Едва только сошел снег, как уже роли в хозяйстве были распределены: сестра принялась за огород и сад, я — за полевое хозяйство, сам Антон Павлович — за посадку деревьев и уход за ними. Отец с утра до вечера расчищал в саду дорожки и проводил новые; кроме того на нем лежала обязанность вести дневник: за все долгие годы “мелиховского сидения” он вел его самым добросовестным образом изо дня в день».

В отсутствие Павла Егоровича записи о «течении мелиховской жизни» делал сам Чехов, с юмором пародируя стиль отца.

Имение было большое, для полевых работ нанимали работников. Вообще же, как вспоминала писательница и переводчица Т. Щепкина-Куперник, часто гостившая в Мелихове, «у всех Чеховых есть одно замечательное свойство — их слушаются цветы и растения, и все, что бы они ни посадили, принимается хорошо». Чехов посадил в Мелихове сотни фруктовых деревьев и розовых кустов. В огороде, кроме обычных для Подмосковья овощей, росли баклажаны, кукуруза, сахалинская гречиха, были даже спаржа и артишоки.

В доме жили две таксы — Хина и Бром. Чехов называл их Хина Марковна и Бром Исаич и очень любил. Он вообще любил животных, и они отвечали ему взаимностью. В ялтинском саду у него жил ручной журавль.

В первый же год семья Чеховых приняла участие в Пасхальном богослужении в местной церкви, после чего мужики говорили, что никогда еще служба не проходила у них так торжественно. У мужиков была и другая причина радоваться новому хозяину Мелихова: сразу по приезде Чехов начал заниматься врачебной практикой. Согласно отчету Серпуховского санитарного совета, в состав мелиховского врачебного участка вошло 26 деревень. При этом, по деликатной формулировке земского доктора Куркина, доктор Чехов «нашел удобным отказаться от вознаграждения, какое получают участковые врачи». Из-за этого, как писал Чехов, мелиховские бабы смотрели на него как на юриди-

вого и всячески старались выразить уважение, а мужики кланялись почтительно, как немцы пастору.

На мелиховском врачебном участке велся регулярный прием больных, делались статистические записи. Чехов посещал заседания Серпуховского санитарного совета, бывал на земских съездах. В 1892 и 1893 в России была эпидемия холеры. Ожидали ее и в Серпуховском уезде. Холеры на его участке, к счастью, не случилось, но были эпидемии дифтерита, тифа, скарлатины; доктор Чехов не мог пожаловаться на отсутствие работы. Кроме того, Чехов вел прием на медицинских пунктах фабричных сел Крюково и Угрюмово, как член санитарно-исполнительной комиссии участвовал в осмотрах фабрик и школ. В его записных книжках в те годы встречаются записи:

«Взглянешь на фабрику, где-нибудь в захоlustье — тихо, смирно, но если взглянуть во внутрь: какое непроходимое невежество хозяев, тупой эгоизм, какое безнадежное состояние рабочих, дрязги, водка, вши».

Порою он отмечал: «О литературной работе и подумать некогда». Несмотря на это, в Мелихове были написаны «Палата № 6», «Черный монах», «Скрипка Ротшильда», «Дом с мезонином», «Моя жизнь», «Три года», «Мужики», «Ионыч», пьеса «Чайка» и многое другое, а также более тысячи писем.

По свойству своего характера Чехов высказывался о собственной врачебной работе без малейшей патетики или умиления. Занимаясь обширными профилактическими мероприятиями в ожидании эпидемии холеры, он описывал свою деятельность следующим образом:

«У меня в участке 25 деревень, 4 фабрики и 1 монастырь. Утром приемка больных, а после утра разъезды. Езжу, читаю лекции печенегам, лечу, сержусь и, так как земство не дало мне на организацию пунктов ни копейки, клянчу у богатых людей то того, то другого. Оказался я превосходным нищим; благодаря моему нищенскому красноречию мой участок имеет теперь 2 превосходных барака со всею обстановкой и барачков пять не превосходных, а скверных (имеются в виду помещения, подготовленные для приема холерных больных). Я избавил земство даже от расходов по дезинфекции. Известь, купорос и всякую пахучую дрянь я выпросил у фабрикантов на все свои 25 деревень... Душа моя утомлена. Скучно. Не принадлежать себе, думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в ворота (не за мной ли приехали?), ездить на отвратительных лошадях по неведомым дорогам и читать только про холеру и ждать только холеры и в то же время быть совершенно равнодушным к сей болезни и тем людям, которым служишь, — это, сударь мой, такая крошка, от которой не поздоровится».

Впрочем, было бы удивительно, если бы Чехов написал, например, о горячей любви к страждущему человечеству, которая пылает в его сердце. Он склонен был достаточно сдержанно объяснять причины, по которым принимал на себя те или иные общественные обязанности.

«Опять я строю школу. Была у меня депутация от мужиков, просила, и у меня не хватило мужества отказаться», —

сообщал он Суворину в феврале 1897.

С «мелиховским сидением» связана постройка Чеховым трех сельских школ — в Талеже, Новоселках и Мелихове. Он занимался сбором денег — у земства, у частных благотворителей, которые раскошеливались весьма неохотно, — искал подрядчиков, проверял счета, наблюдал за ходом работ. Все это требовало не меньше времени и сил, чем врачебная практика. Не многим известно, что за общественную деятельность Чехову было пожаловано потомственное дворянство и орден Святого Станислава 3-й степени. Упоминания об этом нет ни в одном из его писем! Зато есть законная гордость плодами своих усилий:

«Я выстроил три школы, и считаются они образцовыми. Выстроены они из лучшего материала, комнаты 5 аршин вышины (выше 3,5 м), печи голландские, у учителя камин и квартира для учителя не маленькая, в 3–4 комнаты».

Чехов обостренно чувствовал: человек не должен жить по принципу «после меня хоть потоп». «Хорошо, если бы каждый из нас оставлял после себя школу, колодезь или что-нибудь вроде, чтобы жизнь не проходила, не уходила в вечность бесследно», — заметил он в своей записной книжке. Его героям в высшей степени присуще то, что спустя сто лет начали называть экологическим сознанием. Нашему образованному современнику кажется естественным, что талантливый человек сажает леса, как доктор Астров, что это занимает его ум, что об этом ему хочется рассказать любимой женщине в минуту душевного подъема. Трудно поверить, но во времена Чехова такой писатель, как Бунин, находил монолог Астрова о гибнущих лесах в пьесе «Дядя Ваня» нарочитым и неестественным!

Несмотря на занятость, Чехов по-прежнему приглашал к себе множество гостей. Кто только не побывал у него в Мелихове! Художник И. Левитан, журналист В. Гиляровский, актер П. Свободин, издатель А. Суворин, беллетрист и драматург И. Леонтьев-Щеглов...

Чехов всю жизнь был окружен людьми. Он был необыкновенно общителен, хотя порой жаловался на то, что обилие гостей мешает ему писать, что работать приходится в садовом флигеле, так как дом полон народа. Жаловался — и в тот же день отсылал письма, в которых зазывал все новых и новых дорогих ему людей... Вероятно, природа чеховской общительности сложнее, чем обычное радушие гостеприимного человека. Чехов обостренно ощущал собственное одиночество — не внешнее, а внутреннее, экзистенциальное, неизбежное для творческого человека тем более, чем масштабнее его талант. Он очень скупно писал об этом, и все-таки в некоторых его письмах и записных книжках встречаются упоминания о необъяснимом страхе, который охватывал его, когда рядом не было большого количества людей...

Среди гостей Мелихова одной из самых желанных была Лика (Лидия Стахиевна) Мизинова. Отношения Чехова с этой женщиной были сложными и неоднозначными при его жизни и остались таковыми в сознании потомков.

Лика была подругой сестры Чехова Марии Павловны. Обе они преподавали в Московской гимназии С. Ржевской. В 1889 она впервые появилась у Чеховых на Садовой-Кудринской и вскоре стала желанной гостьей в их московской квартире, а затем и в Мелихове. «Прекрасная Лика» называли ее в дружеском кругу. Т. Щепкина-Куперник так описывала ее внешность и характер:

«Лика была девушка необыкновенной красоты. Настоящая Царевна-Лебедь из русских сказок. Ее пепельные вьющиеся волосы, чудесные серые глаза под “соболиными” бровями, необычайная женственность и мягкость и неуловимое очарование в соединении с полным отсутствием ломанья и почти суровой простотой — делали ее обаятельной».

Другие люди, знавшие Лику, отмечали в ней отнюдь не «суровость», а непосредственную эмоциональность, искренность и сердечность. Были в ней и легкомысленная необязательность (взялась по просьбе Чехова за перевод, заверяла, что сделает работу в срок, но не сделала вовсе), и любовь к шумной богемной жизни...

Мария Павловна Чехова некоторое время считала, что Антон Павлович был влюблен в Лику, но не встретил взаимности. Однако, после опубликования переписки Чехова и Мизиновой, сестра вынуждена была признать, что дело обстояло прямо противоположным образом. Мизинова любила Чехова без взаимности, и это печально сказалось на ее судьбе. Возможно, роман с беллетристом И. Потапенко, рождение от него дочери и последующий разрыв с ним не произошли бы, если бы Антон Павлович ответил на ее чувство.

Чехов был, без сомнения, увлечен Ликой. В Москве они вместе посещали концерты, театры и общих знакомых. Лика делала для Чехова выписки о Сахалине в Румянцевском музее. Во всех своих письмах из Мелихова он приглашал ее в гости. Но письма Чехова к Лике отличает особая, слишком для него концентрированная ирония, почти ерничество. Они изобилуют остротами, каламбурами, насмешливыми прозвищами («золотая, перламутровая и фильдекосовая Лика»); содержат постоянное юмористическое обыгрывание

ситуаций, возникавших в жизни Лики и ее ухажеров, среди которых был, в числе прочих, И. Левитан. За постоянными ироническими признаниями («...позвольте моей голове закружиться от Ваших духов и помогите мне крепче затянуть аркан, который Вы уже забросили мне на шею») трудно разглядеть всепоглощающее чувство. Вероятно, его не было, и именно это — а не взбалмошность характера Лики, не ее хаотичность и дилетантизм — стало причиной того, что отношения Чехова и Мизиновой ни к чему не привели.

Маловероятно предположение, будто Чехов боялся стать пленником сильного чувства, которое помешало бы ему писать. Чехов боялся не сильных, а фальшивых и блеклых чувств. Он был крайне сдержан в разговорах на темы личной жизни, но, вероятно, можно доверять тому, что было им высказано в письме Суворину после первого мелиховского лета, в которое Лика была его гостьей:

«Жениться я не хочу, да и не на ком. Да и шут с ним. Мне было бы скучно возиться с женой. А влюбиться весьма не мешало бы. Скучно без сильной любви».

В том, что он не испытывал к Лике глубокого чувства, Чехов был склонен винить не ее, а себя. В 1894 он написал в Швейцарию, где Мизинова жила одна, ожидая ребенка:

«Я не совсем здоров. У меня почти непрерывный кашель. Очевидно, и здоровье я прозевал так же, как Вас».

В этих словах чувствуется не раскаяние и не желание повернуть время вспять, а по-чеховски мужественное, суровое восприятие реальности.

Многие считали Лику прототипом Нины Заречной в пьесе «Чайка», над которой Чехов работал в Мелихове в октябре–ноябре 1895. Того же мнения придерживалась и сама Мизинова, видевшая в судьбе Нины совпадения с собственной судьбой: стремление стать актрисой, роман с модным беллетристом, рождение ребенка. Вообще, Чехов не мог пожаловаться на отсутствие желающих считаться прототипами его героев. В некоторых случаях он и сам не скрывал, что обстоятельства чьей-то жизни были использованы им в произведениях. Так, судьба Треплева в «Чайке» отчасти совпадает с судьбой сына Суворина, талантливого юноши Володи, покончившего с собой.

Случались и недоразумения. Близкий друг Исаак Левитан на несколько лет порвал с ним, оскорбившись на рассказ «Попрыгунья», в котором увидел прозрачный намек на свои отношения с художницей Кувшинниковой.

Беллетристка Лидия Авилова была уверена, что стала прототипом героини рассказа «О любви».

Впрочем, отношения с Авиловой складывались у Чехова таким образом, что ее предположение можно считать вполне обоснованным. Тем более что Чехов, по ее словам, прислал ей однажды письмо, подписанное фамилией персонажа этого рассказа — Алехин. Письмо это Авилова уничтожила — так же, как и все свои письма к Чехову, которые Мария Павловна по ее просьбе вернула после его смерти, — и в поздних мемуарах постфактум изложила собственную версию своих отношений с Чеховым.

Бунин считал, что потаенное чувство к Авиловой, в которой «все было очаровательно: голос, некоторая застенчивость, взгляд чудесных серо-голубых глаз», было самым сильным в жизни Чехова. Правда, Бунин не был свидетелем того, как развивались их отношения. Возможно, в создании легенды об Авиловой сыграла роль и неприязнь Бунина к Ольге Леонардовне Книппер-Чеховой.

Лидия Алексеевна Авилова (урожденная Страхова, дочь известного толстовца) была в конце прошлого века довольно популярной беллетристкой. Ее рассказ «Первое горе» Толстой с поправками включил в книгу «Круг чтения». В 1889 она познакомилась с Чеховым в доме своей сестры, которая была замужем за издателем «Петербургской газеты» С. Худековым. Сама Лидия Алексеевна была к тому времени замужем за петербургским чиновником, весьма скептически и ревниво относившимся к ее литературным занятиям, и имела ребенка. Впоследствии у нее родилось еще двое детей. Чехов хорошо понимал,

что значила семья в жизни Авиловой. По ее воспоминаниям, он сказал ей однажды: «У вас врожденная непрописная нравственность. Это много».

Воспоминания Авиловой «Чехов в моей жизни», написанные в 1939, произвели сенсацию. Она рассказала об ощущении давней душевной близости, которое одновременно возникло у нее и у Чехова при знакомстве (то же чувство возникает у героев рассказа «О любви»); о признаниях в любви, которые делал ей Чехов; о том, как, находясь в клинике Остроумова из-за сильного легочного кровотечения, он просил ее остаться ради него в Москве... Нет оснований усомниться в ее искренности. Однако из этих же воспоминаний видно, что в отношениях между Чеховым и Авиловой было слишком много неестественной натянутости. Из писем Чехова можно понять, что Авилова постоянно упрекала его в том, что он будто бы неправильно ее понимает и неверно ведет себя по отношению к ней. Действительно, Чехов постоянно оправдывается за какие-то свои замечания, касающиеся литературной работы Авиловой, хотя в самих замечаниях не чувствуется ни малейшей бестактности. Скорее всего, Авилова обладала обостренным самолюбием. (Следует заметить, что упреками в адрес Чехова грешила и Лика Мизинова. в письме, написанном ей 1 сентября 1893, он отвечает: «Я ем, сплю и пишу в свое удовольствие? Я ем и сплю, потому что все едят и спят; даже Вы не чужды этой слабости, несмотря на Вашу воздушность. Что же касается писанья в свое удовольствие, то Вы, очаровательная, прочитали это только потому, что не знакомы на опыте со всею тяжестью и с угнетающей силой этого червя, подтачивающего жизнь».)

Вызывают некоторое недоверие те строки мемуаров Авиловой 1939, в которых она говорит о своем благоговении перед чеховским даром. Достаточно сказать, что еще в дневнике 1919 претендующая на проницательность Авилова писала: «Про Чехова я не сказала бы, что он великий человек и великий писатель. Конечно, нет! Он — большой симпатичный талант и был умной и интересной личностью». По воспоминаниям Бунина, Чехов с усмешкой воспринимал пошлый ярлык «симпатичный талант», которым его наградила критика и который уже после его смерти повторила Авилова.

И все-таки, даже вне разговоров о прототипах, отношение Чехова к тому, что происходило между ним и Авиловой, действительно выражено в рассказе «О любви»:

«Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе».

После публикации рассказа «О любви» Лидия Алексеевна написала Чехову письмо, полное растерянности, возмущения и непонимания. Справедливости ради надо сказать, что и многие более проницательные критики не поняли, что означает эта фраза, не поняли, что любовь, по Чехову, относится к тем явлениям жизни, к которым неприменимы мерки обыденности.

Написанная в Мелихове пьеса «Чайка» была поставлена 17 октября 1896 в императорском Александринском театре в Петербурге. Нину Заречную играла В. Комиссаржевская. На премьеру пьесы, в которой, по словам Чехова, было «много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви», он пригласил всех своих друзей и знакомых. Он был доволен первыми репетициями, предвкушал, как после визита «к славе и музам» вернется в Мелихово — «домой, к телятам».

Однако провал «Чайки» был так сокрушителен, что вошел в историю театра. Театроведы находят тому разные причины: непонимание актерами и режиссером Е. Карповым новаторства Чехова-драматурга; небрежность постановки (за две недели до премьеры еще шло распределение ролей); премьеры «Чайки» в один вечер с бенефисом «комической старухи» Е. Левкеевой; вообще, настроенность публики на комедию, как был обозначен жанр пьесы.

Но ни одну из этих причин нельзя назвать решающей. Гениальная актриса Комиссаржевская явно не была виновата в том, что ее первый монолог был встречен смешками,

а впоследствии зал взрывался возмущенными криками и свистом. Вероятно, петербургская снобистская публика решила продемонстрировать свое презрение автору, который вложил в уста Треплева презрение к ее убогим художественным пристрастиям, высмеял ее мелкий интерес к тому, «как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки; ...из пошлых картин и фраз стараются выудить мораль — мораль маленькую, удобопонятную, полезную в домашнем обиходе...».

«Начинающий», в представлении самодовольной театральной публики, драматург осмелился не польстить ей — и она отомстила ему. Газета «Петербургский листок» писала:

«Точно миллионы ос, пчел, шмелей наполнили воздух зрительного зала. Так сильно, ядовито было шиканье».

«Театр дышал злобой, воздух сперся от ненависти», — вспоминал Чехов. Не дождав-шись конца третьего действия, он вышел из ложи, в которой сидел вместе с Сувориными, и, посидев некоторое время в гримуборной Левкеевой, уехал из театра. Домой к Суворину он вернулся в два часа ночи и в ответ на встревоженные расспросы хозяина сказал: «Если я проживу еще 700 лет, то и тогда не отдам на театр ни одной пьесы». Утром, оставив прощальные записки Сувориным и родственникам, он уехал в Москву, а оттуда в Мелихово.

Точнее всех спустя два месяца указал причину провала сам Чехов. «17 октября успеха не имела не пьеса, а моя личность».

Новаторство Чехова-драматурга встретило во время премьеры «Чайки» такое же непонимание, как прежде новаторство Чехова-прозаика. Только вследствие публичности театрального искусства это непонимание было более очевидно. Критики упрекали Чехова в ненужности многих сцен и немотивированности поступков героев его пьес точно так же, как упрекали в мозаичности эпизодов и отсутствии объединяющей идеи в его рассказах.

Незаметное движение жизни, единство вечного и преходящего, важность внутренних состояний героев, их индивидуальных черт, — все, на чем основаны чеховские пьесы, казалось тогдашней театральной критике нарушением «условий сцены».

«Автор завязал несколько интриг перед зрителем, и зритель с понятным нетерпением ожидает развязки их, а герои Чехова, как ни в чем не бывало, ни с того ни с сего, усаживаются за лото!» —

писал критик И. Александровский после постановки «Чайки» в Киеве.

Спустя два года еще более оглушительным, чем провал в Александринке, будет успех «Чайки» на сцене Московского Художественного театра (МХТ). Пока же Чехова пытались ободрить близкие, друзья и просто знакомые, понявшие гениальное новаторство его пьесы, несмотря на ее сценический провал.

Одним из таких проницательных людей был знаменитый юрист и общественный деятель А. Кони. 7 ноября 1896 он написал Чехову:

«“Чайка” — произведение, выходящее из ряда по своему замыслу, по новизне мыслей, по вдумчивой наблюдательности над житейскими положениями. Это сама жизнь на сцене, с ее трагическими союзами, красноречивым бездумьем и молчаливыми страданиями, — жизнь обыденная, всем доступная и почти никем не понимаемая в ее внутренней жестокой иронии, — жизнь до того доступная и близкая нам, что подчас забываешь, что сидишь в театре, и способен сам принять участие в происходящей пред тобою беседе. ...И то, что пьеса прерывается внезапно, оставляя зрителя самого дорисовать себе будущее — тусклое, вялое и неопределенное, — мне очень нравится. Так кончаются или, лучше сказать, обрываются эпические произведения».

Полная созидательного труда и творческого счастья мелиховская жизнь близилась к концу. Причина была одна: стремительно ухудшающееся здоровье Чехова. После обострения болезни в 1897 (кровь пошла горлом прямо во время обеда с Сувориным) он уехал во Францию и провел зиму в Ницце, в Русском пансионе. Врачи считали, что Чехов

должен переехать на постоянное жительство в Ялту, так как климат Средней России губителен для него.

Мысль о переезде была для Чехова невыносима. Как врач он не обольщался относительно своего здоровья, но при этом признавался:

«Лечение и заботы о своем физическом существовании внушают мне что-то близкое к отращению».

Мелихово стало для него домом, здесь родились и были воплощены сюжеты многих его произведений.

С мелиховской жизнью связан рассказ «Черный монах» (1893). По воспоминаниям брата Михаила, «у Антона Павловича, вероятно, от переутомления расходились нервы — он почти совсем не спал» и однажды, ненадолго забывшись, увидел во сне черного монаха, о котором потом написал. Музыка Г. Браги, звучащая в рассказе перед встречами Коврина с черным монахом, звучала и в Мелихове: произведения этого композитора пела Лика Мизинова. Работая над рассказом, Антон Павлович беседовал с известным психиатром В. Яковенко о мании величия, которой болен в «Черном монахе» Коврин. Впоследствии Чехов напоминал о болезни своего героя, отвергая предположения о том, что образ Коврина автобиографичен. Конечно, бессонница и видение черного монаха происходили у Чехова, как и у Коврина, не только «от переутомления», но и от гораздо более глубоких, связанных с творческим состоянием, причин. Однако отождествлять Чехова с человеком, который бестрепетно ассоциирует себя с великими мира сего и произносит: «Как счастливы Будда и Магомет или Шекспир, что добрые родственники и доктора не лечили их от экстаза и вдохновения!» — отождествлять с подобным человеком чуждого патетики Чехова по крайней мере опрометчиво.

Мелиховские наблюдения над крестьянской жизнью нашли воплощение в повести «Мужики» (1897); глубинное, безысходное непонимание между «господами» и мужиками — в рассказе «Новая дача» (1898); нежелание объяснять деятельность на общее благо какой-либо теорией — в «Доме с мезонином» (1896). В Мелихове в 1898 была написана трилогия «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» и рассказ «Ионыч». Разумеется, содержание этих и других произведений Чехова не исчерпывалось мелиховской повседневностью. Но сложный поток творческих импульсов и ассоциаций, картины природы и быта, несомненно, были у него связаны с этим благодатным местом.

В августе 1895 по приглашению Толстого Чехов посетил Ясную Поляну. Толстой относился к нему с уважением и любовью, считал, что «Чехов создал новые, совершенно новые... для всего мира формы писания...». Для Чехова каждая встреча с Толстым была большим событием. Он не разделял идей толстовства, но благоговел перед Толстым-художником.

Из Мелихова Чехов однажды написал Суворину

«Как-то лет 10 назад я занимался спиритизмом и вызванный мною Тургенев ответил мне: “Жизнь твоя близится к закату”. И в самом деле мне теперь так сильно хочется всякой всячины, как будто наступили заголены. Так бы, кажется, все съел: и степь, и за границу, и хороший роман... и какая-то сила, точно предчувствие, торопит, чтобы я спешил».

Несмотря на нездоровье, Чехов продолжал общественную работу: его стараниями было открыто почтовое отделение в Лопасне и построена колокольня в Мелихове, он принимал участие в переписи населения и попечительствовал над народными училищами. Только медицинская практика после 1897 была ему категорически запрещена врачами.

В сентябре 1898 Чехов все же переехал в Ялту. Семья осталась в Мелихове, однако спокойное течение жизни было вскоре нарушено болезнью Павла Егоровича. В октябре 1898 он скончался. Известие об этом, полученное в Ялте, Антон Павлович переживал очень тяжело. «Мне кажется, что после смерти отца в Мелихове будет уже не то житье, точно с дневником его прекратилось и течение мелиховской жизни», — написал он сестре.

Все говорило о неизбежности печальных перемен в жизни Чехова.

«У меня умер отец, – сообщал он публицисту М. Меньшикову, частому гостю Мелихова. – Выскочила главная шестерня из Мелиховского механизма, и мне кажется, что для матери и сестры жизнь в Мелихове утратила теперь всякую прелесть и что мне придется устраивать для них теперь новое гнездо. И это весьма вероятно, так как зимовать в Мелихове я уже не буду, а без мужчин в деревне не управиться».

Незадолго до продажи имения Мелихово посетила Ольга Леонардовна Книппер — актриса Московского, Художественного театра, последняя любовь и будущая жена Чехова.

«Все там дышало уютом, простой здоровой жизнью, чувствовалась хорошая, любовная атмосфера семейной жизни, – вспоминала актриса. – ...Он (Чехов) показывал свои “владения”: пруд с карасями, которыми гордился, — он был страстный рыболов, — огород, цветник. ...Все решительно пленило меня там: и дом, и флигель, где написана была “Чайка”, и сад, и пруд, и цветущие фруктовые деревья, и телята, и утки, и сельская учительница, гулявшая с учителем по дорожке, — казалось, что шла Маша с Медведенко, — пленяли радушие, ласковость, уют, беседы, полные шуток, остроумия...»

В 1899 Мелихово было продано серпуховскому лесопромышленнику. Потом оно не раз переходило из рук в руки, дом ветшал, а в 1930 и вовсе был разобран на бревна. Только в 1960, к столетию со дня рождения Чехова, в Мелихове открылся его музей.

«Последняя страница моей жизни»

Мария Павловна Чехова вспоминала, что, увидев впервые купленный братом участок в Аутке, она едва не заплакала. Каменистый, без растительности, он находился далеко от моря и от самой Ялты, рядом с шоссе; воды на нем не было. Можно представить, какое гнетущее впечатление производила эта местность после цветущего Мелихова!

Ради покупки аутского участка и устройства жизни семьи Чехов подписал договор с книгоиздателем А. Марксом, согласно которому за 75 тысяч рублей передавал тому право на издание всех своих настоящих и будущих сочинений в течение двадцати лет. Маркс был одним из лучших российских издателей, но договор с ним, как впоследствии оказалось, был невыгоден для Чехова. Уже в первый год Маркс получил за издание его произведений вдвое большую сумму, чем заплатил автору. Максим Горький даже уговаривал писателей обратиться к Марксу с коллективным письмом и просить его вернуть Чехову право самостоятельно издавать собственные произведения и получать от этого прибыль. Узнав об этом, Чехов настоятельно просил Горького отказаться от этой затеи. Невыполнение собственноручно подписанных обязательств он считал невозможным, даже если эти обязательства оказывались для него невыгодными. И «не надо все-таки забывать, что, когда зашла речь о продаже Марксу моих сочинений, то у меня не было гроша медного, я был должен Суворину, издавался премерзко, а главное, собирался умирать и хотел привести свои дела хотя бы в кое-какой порядок», – писал он О. Книппер-Чеховой.

Чехов понимал, что жить ему осталось недолго, и хотел до своей смерти обеспечить престарелую мать и незамужнюю сестру Марию Павловну. Но причина кабального договора с Марксом была не только материальная. Чехов хотел при жизни увидеть полное собрание своих сочинений. Он внимательно готовил для марксовского издания свои тексты, включая самые ранние: перерабатывал многие из них, редактировал, держал корректуру.

Постепенно вырисовывался грандиозный итог жизни Чехова: единый мир его произведений, каждое из которых было отмечено неповторимым своеобразием чеховского таланта. Достаточно сказать, что мир этот был населен более чем восемью тысячами (!) персонажей...

Строительство дома в Аутке, осуществляемое архитектором Шаповаловым при активном участии Чехова, продвигалось медленно. Чехов жил в ялтинских гостиницах и на частных квартирах. В круг его знакомых входили культурнейшие люди Ялты —

Татариновы, Средины. У Чехова бывали жившие в то время в Ялте И. Бунин, А. Куприн, М. Горький, драматург, автор пьесы «Дети Ванюшина» С. Найденов. К нему приезжали Н. Гарин-Михайловский, В. Короленко, в его доме пел Ф. Шаляпин, играл С. Рахманинов...

В 1901–1902 Чехов навещал Льва Толстого, жившего в Гаспре. Толстой приехал в Крым из-за тяжелой болезни, и многим врачам казалось, что он не выживет. Чехов, также обеспокоенный состоянием здоровья Толстого, тем не менее уловил никогда не подводившим его диагностическим чутьем, что «великий старец» преодолет болезнь.

Достроенный в 1899 чеховский дом получил название Белая дача и стал, по словам Куприна, «самым оригинальным зданием в Ялте»:

«Вся белая, чистая, легкая, красиво несимметричная, построенная вне какого-нибудь определенного архитектурного стиля, с вышкой в виде башни, с неожиданными выступами, со стеклянной верандой внизу и с открытой террасой вверху, с разбросанными — то широкими, то узкими — окнами, она походила бы на здания в стиле «модерн», если бы в ее плане не чувствовалась чья-то внимательная и оригинальная мысль, чей-то своеобразный вкус».

Предметом особой чеховской гордости и заботы был сад. Чехов подходил к его созданию очень серьезно: читал специальную литературу, выписывал в отдельную тетрадь названия растений, которые посадил или хотел бы посадить (после его смерти их оказалось около двухсот), заказывал саженцы и семена в Одессе, в Сухуми и в Никитском ботаническом саду близ Ялты. Все деревья Чехов сажал только сам, никому не доверяя этого дела. Он вообще относился к деревьям как к одушевленным существам. В засушливую ялтинскую осень 1900 писал Ольге Леонардовне:

«Бедные деревья, особенно те, что на горах по сю сторону, за все лето не получили ни одной капли воды и теперь стоят желтые; так бывает, что и люди за всю жизнь не получают ни одной капли счастья. Должно быть, это так нужно».

Через четыре года в саду росли посаженные Чеховым магнолия, атласский кедр, китайская хурма, вавилонская ива, гледичия, кипарисы, абрикосовые, вишневые и грушевые деревья...

«Погоди, через 2–3 года ты увидишь, что я посадил именно то, что нужно, — писал он сестре. — Думаю, что это так, ибо я прежде, чем сажать, размышлял очень долго».

Лишь спустя много лет работники музея Чехова в Ялте догадались, что имел в виду Чехов. Садоводческий принцип, примененный им для своего сада, английский философ Бэкон называл «вечной весной». Литературовед В. Лакшин описал этот круговорот цветения:

«В январе в чеховском саду зацветает мушмула, покрывается кремовыми цветами жимолость душистая. В феврале цветет жасмин голоцветный и раскрываются бутончики кизила. В марте расцветает белая, розовая и красная камелия, айва японская, украшается золотисто-желтым цветом форзиция. В апреле уже цветут поднявшиеся из земли тюльпаны, гиацинты, нарциссы, цветет фотиния китайская. В мае начинают зацветать магнолии, цветут розы и будут, сменяясь, цвести до ноябрьских прохладных ночей. В августе–сентябре сад украшают олеандры, роскошные хризантемы. В декабре можно любоваться цветущими белыми ветками османтуса падуболистного. И так до января, когда начинается новый круг цветения».

По словам Лакшина, «совсем особая страница культуры — образ сада у Чехова. Это не просто место действия многих его рассказов и пьес, но пульсирующий источник поэтического излучения, почти символ. ...Ночной спящий сад в «Доме с мезонином»... и согретый солнцем, освободившийся от пелены густого тумана, «молодой, нарядный» сад в «Невесте», и огромный, обрызганный утренней росой сад в «Черном монахе». И, наконец, «Вишневый сад»... Сад — та же природа, но скрестившаяся с цивилизацией, организованная культурой, подчиненная вкусу человека, его земной задаче. В этом философия сада у Чехова».

В пьесе «Дядя Ваня» Елена Андреевна так определяет талантливого человека: «Посадит деревце и уже загадывает, что будет от этого через тысячу лет, уже мерещится ему счастье человечества». Эти слова почти полностью совпадают с теми, которые сказал Чехов Куприну:

«Ведь здесь до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и чертополохе. А я вот пришел и сделал из этой дичи культурное, красивое место... Знаете ли, через триста–четырееста лет вся земля обратится в цветущий сад. И жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна».

Эти слова произнес смертельно больной, усталый человек, который, сажая деревья, наверняка знал, что не дожидется даже тех времен, когда ими будет затенен весь его небольшой сад...

Последние годы жизни Чехова связаны с Московским Художественным театром. Еще в 1898, возвратившись из-за границы, Чехов получил письмо от одного из основателей МХТ, своего давнего приятеля В. Немировича-Данченко. Тот просил для постановки «Чайку».

Решение передать провалившуюся пьесу новому, малоизвестному театру Чехов принял после долгих колебаний. Он не хотел еще одного провала; опасался, найдут ли актеры правильный тон в трактовке созданных им образов... Опасения усугублялись еще и тем, что по состоянию здоровья Чехов почти не мог присутствовать на шедших в Москве репетициях.

Сказывался и его скепсис по отношению к состоянию театрального искусства вообще. Чехов называл современный ему театр «сыпью, дурной болезнью городов» и винил в таком положении не публику, которая «всегда и везде одинакова: умна и глупа, сердечна и безжалостна, смотря по настроению», — а самих театральных деятелей, которые «не выше толпы».

Идею Горького о том, что для вывода искусства из кризиса необходимы «народные театры», Чехов отвергал:

«И народные театры, и народная литература — все это глупость, все это народная карамель. Надо не Гоголя опускать до народа, а народ поднимать к Гоголю».

Тем сильнее было впечатление, произведенное на Чехова режиссерами и актерами МХТ.

«Я благодарю небо, что, плывя по житейскому морю, я наконец попал на такой чудесный остров, как Художественный театр», —

писал он своему гимназическому однокашнику, актеру МХТ А. Вишневскому.

Впереди были еще разочарования в режиссерской манере Станиславского (Чехов считал, что тот загубил ему пьесу «Вишневый сад»), но все-таки можно было сказать, что театр и драматург совпали настолько, насколько вообще возможно совпадение ярких творческих личностей.

Премьера «Чайки» в МХТ прошла 17 декабря 1898 с огромным успехом, о чем Чехову немедленно была отправлена телеграмма в Ялту. Вскоре он отдал Художественному театру пьесу «Дядя Ваня», предпочтя его Малому театру, который требовал переделок в тексте пьесы. «Три сестры» создавались уже специально для МХТ; Чехов деятельно участвовал в распределении ролей и давал советы актерам. (Правда, Станиславский называл его советы «шарадами»; многие из них разгадывались не сразу, а лишь несколько лет спустя.) Ольге Леонардовне, репетировавшей Машу в «Трех сестрах», он писал из Ниццы, где снова жил по настоянию врачей:

«Ой, смотри! не делай печального лица ни в одном акте. Сердитое, да, но не печальное. Люди, которые давно носят в себе горе и привыкли к нему, только посвистывают и задумываются часто. Так и ты частенько задумывайся на сцене, во время разговоров. Понимаешь?»

После постановки в 1899 Художественным театром «Дяди Вани» Чехов особенно переживал из-за того, что не может увидеть свои пьесы в той сценической интерпретации, которая бы лучше всего отвечала его замыслу. Узнав, что и в 1900 врачи не позволят Чехову приехать в Москву, Станиславский и Немирович-Данченко организовали апрельские гастроли МХТ в Севастополе и Ялте. Были привезены чеховские спектакли «Дядя Ваня» и «Чайка», «Одинокие» Гауптмана и «Эдда Габлер» Ибсена.

Антон Павлович присутствовал на репетициях, вникал в подробности работы осветителей, гримеров; видно было, что даже мелочи театральной жизни доставляют ему удовольствие.

«Горький со своими рассказами об его скитальческой жизни, Мамин-Сибиряк с необыкновенно смелым юмором, доходящим временами до буффонады, Бунин с изящной шуткой, Антон Павлович со своими неожиданными репликами, Москвин с меткими остротами — все это делало одну атмосферу, соединяло всех в одну семью художников. ...Словом — весна, море, веселье, молодость, поэзия, искусство — вот атмосфера, в которой мы в то время находились», —

писал Станиславский о ежедневных собраниях в ялтинском доме Чехова. Он заметил и другое:

«То, что отравляло Антону Павловичу спектакли, — это необходимость выходить на вызовы публики и принимать чуть ли не ежедневно овации. Нередко поэтому он вдруг неожиданно исчезал из театра, и тогда приходилось выходить и заявлять, что автора в театре нет. В большинстве случаев он приходил просто за кулисы и, переходя из уборной в уборную, жуировал закулисной жизнью, ее волнениями и возбуждениями, удачами и неудачами и нервностью, которая заставляла острее ощущать жизнь».

Во время этих гастролей для многих стало очевидно, что Чехов испытывает к Ольге Леонардовне Книппер, игравшей в его пьесах Аркадину и Елену Андреевну, не только чувство восхищения ее артистическим дарованием.

Ольгу Леонардовну он в 1899 назвал «последняя страница моей жизни».

Чехов впервые увидел Ольгу Леонардовну осенью 1898 в Москве, на репетициях «Царя Федора Иоанновича» в Художественном театре. Книппер играла Ирину. Вернувшись в Ялту, Чехов тут же написал Суворину:

«Ирина, по-моему, великолепна. Голос, благородство, задушевность — так хорошо, что даже в горле чешется... Если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину».

Следующая встреча состоялась только через год. Чехов приехал в Москву на Пасху и навестил Ольгу Леонардовну. Они вместе пошли на выставку картин Левитана; Чехов посмотрел «Чайку», в которой Книппер играла Аркадину, подарил ей фотографию мелиховского флигеля с надписью: «Мой дом, где была написана “Чайка”. Ольге Леонардовне Книппер на добрую память», — и пригласил погостить в Мелихове, где она и пробыла три дня.

С этого времени началась их переписка, длившаяся пять лет и ставшая самой обширной в чеховском эпистолярном наследии.

В 1899 Чехов и Книппер совершили совместное путешествие на пароходе из Новороссийска в Ялту, откуда вместе уехали в Москву. В последующие приезды в Ялту Ольга Леонардовна начала ощущать некоторую натянутость в отношении к ней матери и сестры Чехова. После этого в ее письмах все настоятельнее встает вопрос о необходимости узаконить отношения.

Чехов всю жизнь испытывал необъяснимую робость перед женитьбой — точнее, перед официальным свадебным обрядом. Вероятно, эта робость была сродни его нежеланию выходить на поклон в театре. Незадолго до венчания он написал невесте:

«Если ты дашь слово, что ни одна душа в Москве не будет знать о нашей свадьбе до тех пор, пока она не совершится, — то я повенчаюсь с тобой хоть в день приезда. Ужасно почему-то боюсь

венчания и поздравлений, и шампанского, которое нужно держать в руке и при этом неопределенно улыбаться».

Обещание было выполнено буквально. В день венчания 25 мая 1901 Чехов попросил своего приятеля Вишневого устроить обед, на который должны быть приглашены родственники и близкие друзья его и Ольги Леонардовны. Когда собравшиеся начали уже волноваться из-за отсутствия Чехова и Книппер, было получено известие о том, что они только что обвенчались и уехали в Аксеново Уфимской губернии на кумыс, как это было предписано Чехову врачами. Таким образом Чехов избавил себя от свадебной церемонии. Матери он отправил телеграмму: «Милая мама, благословите, женюсь. Все останется по-старому», — и указал адрес, по которому будет находиться на кумысе. Письмо к сестре также содержит смущенное оправдание и обещание, что изменений в его жизни не произойдет.

Изменений действительно произошло немного. Ольга Леонардовна не оставила московскую сцену; Чехов не получил от врачей разрешения переехать из Ялты в Москву. Годы совместной жизни Чехова и Книппер — это история долгой разлуки, редких встреч и чрезвычайно насыщенной переписки.

Жен русских писателей часто упрекали современники и потомки в том, что те мало внимания уделяли своим великим мужьям. Поток упреков, высказанных в адрес Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой, — один из самых мощных. Следует признать, что делались они не без основания.

Чехов тосковал в Ялте. Впервые в жизни он чувствовал такое одиночество, впервые был так явно оторван от того, что его привлекало: от столицы, от театральной и литературной среды. Он жаловался сестре в Москву:

«Ты пишешь про театр, кружок и всякие соблазны, точно дразнишь, точно не знаешь, какая скука, какой это гнет — ложиться в 9 час. вечера, ложиться злым, с сознанием, что идти некуда, поговорить не с кем и работать не для чего, так как все равно не видишь и не слышишь своей работы. Пианино и я — это два предмета в доме, проводящие свое существование беззвучно и недоумевающие, зачем нас здесь поставили, когда на нас тут некому играть».

Дело, конечно, было не только в том, что зимой в Ялте было холодно и что, не любя этого города, Чехов чувствовал себя здесь «как в Малой Азии». Ощущение напрасно проходящего времени усугублялось тем, что он чувствовал, как день ото дня ухудшается здоровье, уходят силы, уходит жизнь.

Впервые в его письмах появляются просьбы о сочувствии. Он часто просит жену приехать хотя бы на несколько дней; пишет, что ее появление было бы для него сущим благодеянием; расстраивается, когда ее долгожданный приезд оказывается слишком кратким...

Но не стоит забывать о том, что Чехов писал Книппер и до женитьбы:

«Если мы теперь не вместе, то виноваты в этом не я и не ты, а бес, вложивший в меня бацилл, а в тебя любовь к искусству», —

и после женитьбы:

«Я ведь знал, что женюсь на актрисе, то есть когда женился, ясно сознавал, что зимами ты будешь жить в Москве. Ни на одну миллионную я не считаю себя обиженным или обойденным, напротив, мне кажется, что все идет хорошо, или так, как нужно, и потому, дусик, не смущай меня своими угрызениями».

Впрочем, было бы странно, если бы Чехов стал в чем-то упрекать любимую женщину...

Их переписка — это отражение очень нелегкой и очень насыщенной творческой жизни, в которой даже мелочи быта приобретают особый масштаб, потому что внутренне одухотворены и овеяны любовью. Чехов и Книппер были неизменно интересны друг

другу. Иногда Ольга Леонардовна задавала мужу «вечные вопросы», которые казались ему наивными, и он отвечал так, как это всегда было ему свойственно:

«Ты спрашиваешь, что такое жизнь? Это все равно что спросить: что такое морковка? Морковка есть морковка, и больше ничего не известно».

В 1901 Чехов составил завещание для сестры Марии Павловны, которая, став наследницей, должна была отдать его долги. В завещании, которое Чехов передал на хранение жене, было сказано:

«Я обещал крестьянам села Мелихова сто рублей — на уплату за шоссе; обещал также Гавриилу Алексеевичу Харченко... платить за его старшую дочь в гимназию до тех пор, пока ее не освободят от платы за учение. Помогай бедным. Береги мать. Живите мирно».

О помощи бедным Чехов помнил до конца своих дней. Сразу по приезде в Ялту он начал принимать участие в устройстве нуждающихся туберкулезных больных. Написанное им воззвание об этом напечатали многие газеты. Воззвание (невероятная для Чехова форма общественной деятельности!) произвело огромный эффект: пожертвования посыпались как из рога изобилия. На собранные деньги началось строительство санатория для туберкулезных больных. Чехов оказал помощь в строительстве школы в поселке Мухалатка близ Ялты.

В 1900 Чехов был избран почетным академиком по разряду изящной словесности. Это звание давало большие возможности — например, академик мог приехать в любой российский город и потребовать любое помещение для бесцензурного выступления. Вероятно, именно эта «льгота» стала причиной того, что в 1902 звания почетного академика был лишен только что получивший его М. Горький, который состоял под надзором полиции. Выборы Горького академиком были объявлены недействительными от имени самой Академии, причем ее члены не были даже поставлены об этом в известность. После этого два академика, Чехов и Короленко, отказались от своих почетных званий. Объясняя Академии свой отказ, Чехов написал:

«Я поздравлял сердечно, и я же признавал выборы недействительными — такое противоречие не укладывалось в моем сознании, примирить с ним свою совесть я не мог».

В последние ялтинские годы написаны поздние чеховские шедевры, среди которых рассказы «В овраге», «Дама с собачкой», «Архиерей», пьеса «Вишневый сад». Писались они тяжело: здоровье писателя таяло с каждой строчкой. О «Вишневом саде» он сообщал в нетерпении ожидающей новой пьесы труппе МХТ:

«Пишу по четыре строчки в день, и те с нестерпимыми мучениями».

Прочитав эту пьесу, великий режиссер XX века В. Мейерхольд (он играл Треплева в «Чайке» в МХТ) написал Чехову:

«Вы несравнимы в вашем великом творчестве. Когда читаешь пьесы иностранных авторов, вы стоите оригинальностью своей особняком. и в драме Западу придется учиться у вас».

Слова эти оказались пророческими: пьесы Чехова занимают ведущее место в мировом театральном репертуаре, к ним вновь и вновь обращаются лучшие режиссеры мира.

Премьера «Вишневого сада» была превращена в Художественном театре в торжественное чествование автора. Это произошло 17 января 1904, в день рождения Чехова. Было решено считать этот день также и юбилеем: двадцатипятилетием его творческой деятельности. Чехов не присутствовал на премьере, за ним приехали из театра после третьего акта. Антракт был использован для чтения приветственных речей и телеграмм от представителей «всего грамотного русского общества». Стоя на сцене, Чехов едва сдерживал кашель. Он выглядел настолько больным, что из зала стали доноситься просьбы, чтобы он сел...

Премьера одной из самых загадочных пьес мирового репертуара походила на прощание с ее автором. Самому же «Вишневому саду», как и всем произведениям Чехова,

предстояла долгая жизнь. На протяжении века режиссерам и актерам приходилось, например, угадывать, почему Чехов считал «Вишневый сад» и «Чайку» комедиями, — и не находить разгадки. Может быть, он вкладывал в это такой же смысл, какой содержит в себе название «Человеческая комедия», которым объединены отнюдь не смешные романы Бальзака?

«Никто не знает настоящей правды»...

К лету 1904 здоровье Чехова ухудшилось настолько, что врачи потребовали немедленной поездки на немецкий горный курорт Шварцвальд. 3 июня Чехов вместе с женой выехал в курортный городок Баденвейлер. Видевшие его перед отъездом вспоминали, что он прямо говорил: «Еду умирать».

Его состояние резко ухудшилось в ночь на 2 июля. Некоторое время он шутил, смешил Ольгу Леонардовну импровизациями на темы курортной жизни; потом впервые сам попросил послать за доктором.

Ольга Леонардовна вспоминала о его последних минутах:

«Пришел доктор, велел дать шампанского. Антон Павлович сел и как-то значительно, громко сказал доктору по-немецки (он очень мало знал по-немецки): “Ich sterbe” (“Я умираю”). Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал: “Давно я не пил шампанского...”, покойно выпил все до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолкнул навсегда...»

По воспоминаниям Бунина, Чехов с одинаковой твердостью говорил и о том, что жизнь после смерти в какой бы то ни было форме — сущий вздор, и о том, что бессмертие — очевидный факт. «Это — своеобразная микромодель подхода Чехова к таким явлениям, как смерть, жизнь, бессмертие. Он как бы допускает возможность двух противоположных решений», — пишет А. Чудаков.

В Баденвейлере оборвалась земная жизнь Чехова, наполненная творчеством и созидательным трудом. Жизнь его произведений продолжается уже почти сто лет после того, как писателя похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. И, наверное, будет продолжаться до тех пор, пока человек имеет душу живую. Долго ли?

«Если бы знать!»